



Михаил Павлович Шишкин

Венерин волос

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=592605

Венерин волос / Михаил Шишкин: АСТ, Астрель; Москва; 2010

ISBN 978-5-17-069377-1, 978-5-271-29981-0

Аннотация

Герой-рассказчик романа «Венерин волос» служит переводчиком в миграционной службе. Бесконечные истории беженцев, просящих политического убежища, переплетаются, прорастают друг в друга – из современной Швейцарии действие переносится в Париж, Россию начала прошлого века или древнюю Персию – и сливаются воедино – в историю любви, без которой невозможен мир.

Роман удостоен премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	58
-----------------------------------	----

Михаил Шишкин

Венерин волос

И прах будет призван, и ему будет сказано:

«Верни то, что тебе не принадлежит;

яви то, что ты сохранял до времени».

Ибо словом был создан мир, и словом воскреснем.

Откровение Варуха, сына Нерии. 4, XLII

У Дария и Парисатиды было два сына, старший Артаксеркс и младший Кир.

Интервью начинаются в восемь утра. Все еще сонные, помятые, угрюмые – и служащие, и переводчики, и полицейские, и беженцы. Вернее, беженцем еще нужно стать. А пока они только GS. Здесь так называют этих людей. Gesuchsteller¹.

Вводят. Имя. Фамилия. Дата рождения. Губастый. Весь в прыщах. Явно старше шестнадцати.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии.

Ответ: Я жил в детдоме с десяти лет. Меня насиловал наш директор. Я сбежал. На стоянке познакомился с шоферами, которые гоняют фуры за границу. Один меня вывез.

Вопрос: Почему вы не обратились в милицию с заявлением на вашего директора?

Ответ: Они бы меня убили.

Вопрос: Кто «они»?

Ответ: Да они там все заодно. Наш директор брал в машину меня, еще одного пацана, двух девчонок и отвозил на дачу. Не его дачу, а чью-то, не знаю. И вот там собирались все они, все их начальство, и начальник милиции тоже. Они напивались и нас тоже заставляли пить. Потом разбирали нас по комнатам. Большая дача.

Вопрос: Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища?

Ответ: Да.

Вопрос: Опишите путь вашего следования. Из какой страны и где вы пересекли границу Швейцарии?

Ответ: Не знаю. Я ехал в фуре, меня заставили коробками. Дали две пластмассовых бутылки: одну с водой, другую для мочи, и выпускали только ночью. Меня высадили прямо здесь за углом, даже не знаю, как город называется, и сказали, куда идти, чтобы сдаться.

Вопрос: Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью?

Ответ: Нет.

Вопрос: Находились ли под судом или следствием?

Ответ: Нет.

Вопрос: Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас есть юридический представитель в Швейцарии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы согласны на проведение экспертизы для определения вашего возраста по костной ткани?

Ответ: Что?

¹ Лицо, подавшее заявление о предоставлении убежища (нем.).

В перерыве можно выпить кофе в комнате для переводчиков. Эта сторона выходит окнами на стройку – возводят новое здание для центра приема беженцев.

Белый пластмассовый стаканчик то и дело вспыхивает прямо в руках, да и вся комната озаряется отблесками сварки – сварщик устроился прямо под окном.

Никого нет, можно десять минут спокойно почитать.

Итак, у Дария и Парисатиды было два сына, старший Артаксеркс и младший Кир. Когда Дарий захворал и почувствовал приближение смерти, он потребовал к себе обоих сыновей. Старший сын находился тогда при нем, а за Киrom Дарий послал в ту область, над которой он поставил его сатрапом.

Страницы книги тоже вспыхивают в отблесках сварки. Больно читать – после каждой вспышки страница чернеет.

Закроешь глаза – и веки тоже прошибает насквозь.

В дверь заглядывает Петер. Herr Fischer². Вершитель судеб. Подмигивает, мол, пора. И его тоже озаряет вспышка – как от фотоаппарата. Так и останется запечатленным с одним прищуренным глазом.

Вопрос: Вы понимаете переводчика?

Ответ: Да.

Вопрос: Ваша фамилия?

Ответ: ***.

Вопрос: Имя?

Ответ: ***.

Вопрос: Сколько вам лет?

Ответ: Шестнадцать.

Вопрос: У вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас должно быть свидетельство о рождении. Где оно?

Ответ: Сгорело. Все сгорело. Наш дом сожгли.

Вопрос: Как зовут вашего отца?

Ответ: *** ***. Он давно умер, я его совсем не помню.

Вопрос: Причина смерти отца?

Ответ: Не знаю. Он много болел. Пил.

Вопрос: Назовите имя, фамилию и девичью фамилию Вашей матери.

Ответ: ***. Девичьей фамилии я не знаю. Ее убили.

Вопрос: Кто убил вашу мать, когда, при каких обстоятельствах?

Ответ: Чеченцы.

Вопрос: Когда?

Ответ: Вот этим летом, в августе.

Вопрос: Какого числа?

Ответ: Не помню точно. Кажется, девятнадцатого, а может, двадцатого. Я не помню.

Вопрос: Как ее убили?

Ответ: Застрелили.

Вопрос: Назовите ваше последнее место жительства до выезда.

Ответ: ***. Это маленькая деревня рядом с Шали.

Вопрос: Назовите точный адрес: улицу, номер дома.

Ответ: Там нет адреса, просто одна улица и наш дом. Его больше нет. Сожгли. Да и от деревни ничего не осталось.

² Господин Фишер (нем.).

Вопрос: У вас есть родственники в России? Братья? Сестры?

Ответ: Был брат. Старший. Его убили.

Вопрос: Кто убил вашего брата, когда, при каких обстоятельствах?

Ответ: Чеченцы. Тогда же. Их убили вместе.

Вопрос: Другие родственники в России?

Ответ: Никого больше нет.

Вопрос: У вас есть родственники в третьих странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: В Швейцарии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Ваша национальная принадлежность?

Ответ: Русский.

Вопрос: Вероисповедание?

Ответ: Что?

Вопрос: Религия?

Ответ: Верующий.

Вопрос: Православный?

Ответ: Да. Я просто не понял.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии.

Ответ: К нам все время приходили чеченцы и говорили, чтобы брат шел с ними в горы воевать против русских. Иначе убьют. Мать его прятала. Я в тот день возвращался домой и слышал из открытого окна крики. Я спрятался в кустах у сарая и видел, как в комнате чеченец бил брата прикладом. Там их было несколько, и все с автоматами. Я брата не видел – он уже лежал на полу. Тогда мать бросилась на них с ножом. Кухонный ножик, которым мы чистили картошку. Один из них отпихнул ее к стене, приставил ей калаш к голове и выстрелил. Потом они вышли, облили дом бензином из канистры и подожгли. Они стояли кругом и смотрели, как горит. Брат был еще жив, я слышал, как он кричал. Я боялся, что они меня увидят и тоже убьют.

Вопрос: Не молчите, рассказывайте, что было потом.

Ответ: Потом они ушли. А я сидел там до темноты. Не знал, что делать и куда идти. Потом пошел к русскому посту на дороге в Шали. Я думал, что солдаты мне как-то помогут. Но они сами боятся всех и стали меня прогонять. Я им хотел объяснить, что случилось, а они стреляли в воздух, чтобы я уходил. Тогда я провел ночь на улице в каком-то разрушенном доме. А потом стал пробираться в Россию. А оттуда сюда. Я не хочу там жить.

Вопрос: Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища?

Ответ: Да.

Вопрос: Опишите путь вашего следования. Через какие страны вы ехали и каким видом транспорта?

Ответ: По-разному. На электричках, поездах. Через Белоруссию, Польшу, Германию.

Вопрос: У вас были средства на покупку билетов?

Ответ: Откуда? Так ездил. Бегал от контролеров. В Белоруссии меня поймали и сбросили на ходу с поезда. Хорошо еще медленно ехали и был откос. Удачно упал, ничего не сломал. Только распорол кожу на ноге о битое стекло. Вот здесь. На вокзале ночевал, и какая-то женщина мне дала пластырь.

Вопрос: Какие документы вы предъявляли при пересечении границ?

Ответ: Никакие. Пешком ночью шел.

Вопрос: Где и каким образом вы пересекли границу Швейцарии?

Ответ: Здесь, в этом, как его...

Вопрос: Кройцлинген.

Ответ: Да. Просто прошел мимо полиции. Они только машины проверяют.

Вопрос: На какие средства вы поддерживали ваше существование?

Ответ: Ни на какие.

Вопрос: Что это значит? Вы воровали?

Ответ: По-разному. Иногда да. А что делать? Есть-то хочется.

Вопрос: Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью?

Ответ: Нет.

Вопрос: Находились ли под судом или следствием?

Ответ: Нет.

Вопрос: Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас есть юридический представитель в Швейцарии?

Ответ: Нет.

Пока принтер распечатывает протокол, все молчат.

Парень ковыряет черные обгрызенные ногти. От его куртки и грязных джинсов пахнет куревом и мочой.

Петер, откинувшись назад, покачиваясь на стуле, смотрит за окно. Там птицы обгоняют самолет.

Рисую в блокноте крестики, квадратики, делю их диагональными линиями на треугольники, закрашиваю так, чтобы получился рельефный орнамент.

На стенах кругом фотографии – вершитель судеб помешан на рыбалке. Вот на Аляске держит рыбину за жабры, а там что-то карибское с большим крюком, торчащим из огромной глотки.

У меня над головой – карта мира. Вся утыкана булавками с разноцветными головками. С черными – впились в Африку, с желтыми – торчат из Азии. Белые головки – Балканы, Белоруссия, Украина, Молдавия, Россия, Кавказ. После этого интервью добавится еще одна. Иглоотерапия.

Принтер замирает и моргает красным – кончилась бумага.

Любезный Навуходонозавр!

Вы уже получили мою скороспелую открытку с обещанием подробностей. Вот они.

После дня, проведенного в местах не столь отдаленных, пришел домой. Поел макароны. Перечитал Ваше послание, так порадовавшее меня. Стал смотреть в окно. Ветер нагнал сумерки. Дождь зарядил. На газоне валяется красный зонт, как порез на травяной шкуре.

Однако все по порядку.

Не каждый день, право, балует нас почтальон чужестранными посланиями! Да еще такими! Среди счетов и рекламы – нечаянная радость, Ваше письмо, в котором Вы подробно описываете Вашу Навуходонозаврову державу, ее славное географическое прошлое, приливы и отливы истории, нравы флоры, обычаи фауны, вулканы, законы, катапульты и людоедские наклонности народонаселения. Есть у Вас, оказывается, даже и вампиры, и дракулы! А Вы, значит, императорствуете. Польщен.

Правда, письменность Ваша изобилует грамматическими ошибками, но какая, в сущности, разница! Ошибки можно научиться исправлять, а такое вот послание Вы мне, может, никогда больше и не пришлете. Императоры так быстро взрослеют и забывают о своих империях.

Не нагляжусь на приложенную карту Вашей островной отчизны, обстоятельный труд вдохновенных императорских картографов. А знаете, я, пожалуй, прикнуплю ее вот сюда, на стенку. Буду посматривать и гадать, где-то Вы там сейчас, среди этих гор, пустынь, озер, фломастерных зарослей и столиц. Что поделяваете? Переехали уже из летней резиденции в Осенний дворец? Или уже спите? И Ваш сон охраняет непотопляемый флот – вон идут вокруг острова триремы и подводные лодки кильватерной колонной.

И какое славное имя для благодетельного государя, написанное разноцветными буквами! Даже имею некоторые предположения, как оно Вам пришло на ум, но оставлю их при себе.

В Вашем послании Вы просите сообщить сведения о нашей далекой державе, еще неизвестной Вашим географам и первопроходцам. Как же мне оставить Ваш вопрос без ответа!

Что Вам сказать о нашей империи? Обетованна, странноприимна, небоскрежна. По площади три года скачи – не доскачешь. По числу комаров на тело населения в бессонные часы нет ей равных. По забору пробегают белки.

Карта наша изобилует белыми пятнами, когда выпадает снег. Границы так далеко, что даже неизвестно, с кем толком граничит империя. Одни говорят, что с горизонтом, по другим источникам, с заключительной каденцией ангельских труб. Доподлинно же известно, что расположена она где-то к северу от эллинов, вдоль береговой линии воздушного океана, по которому ходит наш непотопляемый облачный флот кильватерной колонной.

Флора пока еще наличествует, от фауны остались лишь кроны вот этих деревьев, похожие на косяки мальков. Их пугает ветер.

Флаг – хамелеон, законы что дышло, про вулканы мне лично ничего не известно.

Главный вопрос, занимающий имперские умы уже не одно поколение, – кто мы и зачем? Ответ на него, при всей кажущейся очевидности, невнятен. В профиль – гипербореи, анфас – сарматы, одним словом, то ли орочи, то ли тунгусы. И каждый – закладка. Я хотел написать «загадка».

Верования примитивны, но не лишены некоторой поэтичности. Иные убеждены, что мир – огромная лосиха, шерсть которой – леса, живущие в шерсти паразиты – таежные звери, а выющиеся вокруг насекомые – птицы. Этакая хозяйка вселенной. Когда лосиха начинает тереться о дерево – все живое умирает.

Короче, эта империя кем-то общепризнана лучшим из миров, в котором Ваш покорный – Вы интересуетесь, не начальник ли? – не начальник. Как объяснить Вам, любезный Навуходонозавр, чем мы тут промышляем? Пожалуй, попробую так: ведь даже эти мальки за окном, которые жмутся в кучку и не подозревают о себе, что просто ветер, убеждены: каждого из них кто-то ждет, помнит, знает в лицо – все прожилки, все крапинки. И никак их не разубедить. И вот прут из всех поднебесных каждой твари по паре: недотепы и несмеяны, правдолюбцы и домочадцы, левши и правши, братки и таксидермисты. А никто никого не понимает. И вот я служу. Министерства обороны рая беженской канцелярии толмач.

И каждый хочет что-то объяснить. Надеется, что его выслушают. А тут мы с Петром. Я перевожу вопросы и ответы, а Петр записывает, кивает головой, мол, ну-ну, так я вам и поверил. Он никому не верит. Вот приходит какая-нибудь и говорит: «Я – простая пастушка, подкидыш, родителей своих не знаю, воспитал меня обыкновенный козопас, бедняк Дриас». И начинается лыко в строку. Деревья в плодах, равнины в хлебах, лоза на холмах, стада на лугах, нежное всюду цикад стрекотанье, плодов сладкое благоуханье. Пиратов нападение, врагов вторжение. Холеные ногти вспыхивают в пламени зажигалки. «Ведь выросла я в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова “любовь”. А спираль представляла себе как что-то похожее на диванную пружину. Ах, мой Дафнис! Разлучили нас, горемычных! Разборка за разборкой. То тирийская группировка наедет, то метимнейские гости права

качают. Дафнис сопровождал меня как охранник к клиентам. Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь. А они видите что мне с зубами сделали? У меня и так зубы никудышные. Но это от мамы. Она рассказывала, как в детстве штукатурку отколупывала от печки и ела. Кальция не хватало. Да и я, когда Яночку носила, в институте у преподавателей мел тырила и грызла. Любовь – та же луна: если не прибывает, то убывает, – но остается той же, что в прошлый раз, и всегда одна и та же». Петр: «Всё?» Она: «Всё». «Тогда вот, – предъявляет, – мадам, ваши отпечаточки». «И что с того?» – изумляется. «А то, что в нашей всеимперской картотеке вы уже наследили». И под зад коленкой. А она уже из лифта кричит: «Вы еще не люди, вы еще холодная глина – вас уже слепили, но ничего не вдули!»

А иной вообще двух слов толком связать не может. Да еще дикция как у водопроводного крана. Я мучаюсь, пытаюсь разобраться, что он там квохчет, а Петр все на своем столе выравнивает, чтобы как на параде, вроде как он начальник стола – принимает парад карандашей и зубочисток. Время-то казенное. Никто не торопится. Петр порядок любит. А этот GS бормочет про какой-то сим-сим, кричит, чтобы открыли дверь. Лепечет про какие-то белые кружки на воротах, потом красные. Начинает уверять, что сидел себе в бурдюке и никого не трогал, никому не мешал, а его кипящим маслом. «Вот, – кричит, – смотрите, разве можно так? Кипящим маслом на живого человека?» А чтобы отказать разбойнику, достаточно найти несоответствия в показаниях – Петр достает с полки заплечных дел книжицу, и пошла писать губерния. Скажи-ка, мил человек, сколько километров от твоей Багдадовки до столиц? Какой курс пиастров к доллару? Какие, кроме непорочного зачатия и первой снежной бабы, отмечаются в покинувшей тебя стране национальные праздники? Какого цвета трамваи и бурдюки? И почему буханка бородинского?

Или возвращаются, к примеру, из вавилонского пленения иудеи, затягивают хор из третьего действия «Набукко», а наш столоначальник им: «На каком языке говорят в Халдейском царстве?» Они: «На аккадском». Он: «Как называется в Вавилоне храм бога Мардука?» Они: «Эсагила». Он: «А Вавилонская башня?» Они: «Этеменанки». Он: «А какой богине посвящены северные ворота?» Они: «Иштар, богине Венеры. А Солнце олицетворяет Шамаш, Луну – Син. Марс – это Нергал. В Сатурне вавилонцы-злодеи видят Нинурта, в Меркурии – Набу, а сам Мардук отождествляется с Юпитером. От этих семи астральных богов, кстати, идет семидневная неделя. Вы это знали?» Он: «Здесь вопросы задаю я. Внебрачная дочь Навуходоносора, вторая “б”, восемь букв». Они: «Да что вы нас, за дураков, что ль, держите? Абигайль!»

До Петра столоначальницей была Сабина. Она, наоборот, всем верила. И не задавала вопросов из всезнающей книжицы. И никогда не ставила штамп «Prioritätsfall». Вот ее и уволили. А Петр ставит почти каждому. В досье на первой страничке. Это означает ускоренное рассмотрение дела ввиду очевидного отказа. Вот GS подписывает протокол, прощается, заискивающе улыбается и вершителю судеб, и толмачу, и пришедшему за ним стражнику с алебардой, надеется, что теперь-то все будет хорошо, а Петр ему – только закроется дверь – штамп.

Этот заработок был не для Сабины. Когда толмач ходил с ней в перерыве в кафе напротив, она жаловалась, что, вернувшись после работы домой, садится ужинать, а перед глазами – женщина, которая днем на интервью плакала, рассказывая, как сыну выдирали ногти, а этот самый мальчик без ногтей сидел рядом в комнате для ожидания. Детей опрашивают отдельно от родителей.

– Здесь нельзя никого жалеть, – сказала один раз Сабина. – А я их всех жалею. Надо просто уметь отключиться, стать роботом, вопрос-ответ, вопрос-ответ, заполнил формуляр, подписал протокол, отправил в Берн. Пусть они там решают. Нет, мне надо искать другую работу.

Сабина была совсем юной столоначальницей. После увольнения она уехала на противоположный конец империи и прислала толмачу странную открытку. Но это все не важно. Может быть, когда-нибудь потом объясню. Или не объясню.

Кажется, мы отвлеклись, любезный Навуходонозавр.

Чем еще славна наша империя? Есть и у нас, представьте себе, и подводные лодки, и пустыни, и даже дракула, но только не вампир, а настоящий. Здесь вообще все настоящее.

Что еще? Ранка на траве затянулась – стемнело.

Да, забыл сказать, что людоедство не перевелось и у нас, причем пожирает всех не кто-нибудь, а самодержец самолично, или самодержица, давно не заглядывал в придворный адрес-календарь, а род ведь зависит от наречия, короче, один такой Ирод Великий, но если об этом не думать постоянно, то живется тут припеваючи приставший в трамвае мотивчик. На остановке у вокзала сегодня кто-то вышел, насвистывая.

Забавно – когда-нибудь через много лет получите это письмо и, возможно, даже не вспомните, что были некогда императором вот этой чудесной прикнопленной империи.

Блокнот, ручка, стакан воды. Солнце за окном. Вода в стакане пускает солнечный зайчик – не зайчик, а целый солнечный зайчище, – переливается на потолке и вдруг на какое-то мгновение становится похожим на ухо. И еще на зародыша. Открывается дверь. Вводят.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Я работал на таможне на границе с Казахстаном. Военные перевозили наркотики в своих машинах, и мой начальник был с ними в сговоре, мы должны были на все закрывать глаза и оформлять как полагается. Я написал письмо в ФСБ. Через несколько дней на улице мою дочь сбила машина, а мне позвонили и сказали, что это первое предупреждение.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: На выборах губернатора я активно поддерживал кандидата оппозиции, участвовал в митингах протеста и сборах подписей. Меня вызывали в милицию и требовали прекратить выступать против руководства области с разоблачениями. Неоднократно меня избивали переодетые в штатское милиционеры. К заявлению о предоставлении убежища мною приложены медицинские свидетельства о переломе челюсти и руки и о других последствиях избиений. Я теперь, как вы видите, инвалид и не могу работать. У моей жены, приехавшей со мной, рак желудка.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Я болен СПИДом. У нас в городе все от меня отвернулось. Даже жена и дети. А меня заразили, когда я лежал в больнице, при переливании крови. У меня теперь ничего нет: ни работы, ни друзей, ни дома. Мне скоро умирать. Я решил так: если все равно подышать, так хоть здесь, у вас, в человеческих условиях. Ведь не выкинете.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Был в Мунтянской православной земле воевода по имени Дракула. Однажды турецкий паша прислал ему послов с требованием отказаться от православной веры и покориться ему. Послы, говоря с воеводой, не сняли своих шапок и на вопрос, почему они оскорбляют таким образом великого государя, ответили: «Таков обычай, государь, земля наша имеет». Тогда Дракула велел своим слугам гвоздями прибить шапки к головам послов и отослал их тела обратно, велел передать паше, что Бог у нас один, а обычаи разные. Разъяренный паша пришел в православную землю с огромной армией и стал грабить и убивать. Воевода Дракула собрал все свое немногочисленное войско и напал на мусульман ночью, убил

их множество и обратил в бегство. Утром он устроил смотр своим оставшимся в живых бойцам. Кто ранен был спереди, тому честь великую воздавал и называл его витязем. У кого же рана была на спине, того велел сажать на кол, говоря: «Ты не муж, но жена». Услышав об этом, паша увел остатки своего войска обратно, не смея больше нападать на эту землю. Так жил воевода Дракула в своих владениях дальше, и было в ту пору в Мунтянской земле много нищих, убогих, больных и немощных. Видя, что столько в его земле мучается несчастных людей, велел он всем прийти к нему. И собралось бесчисленное множество несчастных, калек и сирот, чающих от него великой милости, и стали они ему говорить каждый о своих несчастьях и болях, кто о потерянной ноге, кто о вытекшем глазе, кто об умершем сыне, кто о несправедном суде и без вины брошенном в тюрьму брате. И был плач велик, и стон стоял по всей Мунтянской земле. Тогда повелел Дракула собрать всех в одну великую храмину, для того случая построенную, и велел дать им яств изысканных и питья довольно. Они же ели, пили и возвеселились. Он тогда пришел к ним и спросил: «Чего еще вы хотите?» Они все отвечали: «То ведает Бог и ты, великий государь! Поступи с нами так, как тебя Бог вразумит!» Тогда он сказал им: «Хотите, сделаю вас беспечальными на сем свете, чтобы ни в чем у вас нужды не было, чтобы не плакали вы о потерянной ноге и вытекшем глазе, об умершем сыне и несправедном суде?» Они же чаяли от него какого-то чуда и ответили все:

«Хотим, государь!» Тогда он велел запереть храмину, обнести соломой и поджечь. И был огонь великий, и все в нем сгорели.

Любезный Навуходонозавр!

Заглянул в почтовый ящик – от Вас ничего.

Верно, Вам не до нас. Да мы и не ропщем – ведь Вас ждут дела государственного значения. Не дай бог, объявите кому-нибудь войну, или нападут инопланетяне. За всем глаз да глаз нужен. Тут уж не до писем.

У нас все по-старому.

Вселенная расширяется. Толмач толмачит.

Вот придешь домой, а выкинуть из головы все, что было днем, не получается. Все с собой домой и принес.

Никак от тех людей и слов не освободиться.

А там все то же. Да и что может быть на толмачевой службе нового? Все по накатанной дорожке. Все по утвержденной в высших сферах форме. Каждый вопрос по установленному образцу, каждый ответ тоже. А на стандартное приветствие Петр даже и голос не тратит – дает толмачу зачитать с листа оробевшему GS. Толмач и зачитывает: «Здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли! Заходите, пожалуйста, скоротаем вместе этот бесконечный день! Вы присаживайтесь, небось устали с дороги. В ногах правды нет. Мы сейчас велим самоварчик поставить! Валенки-то, валенки давайте вот сюда, поближе к печке! Ну, как вам наше лучшее из белых пятен на карте, где человек есть то, что он есть, и говорит то, что он молчит? Не осмотрелись еще? Успеете! Может, хотите пересечь вот сюда, подальше от окошка, чтобы, не ровен час, не надуло? Скажете, если сквозит? Вот и ладненько. Да, о чем бишь мы? Так вот, приезжают сюда всякие, все какие-то помятые, недалекие, с плохими зубами, – и врут. Уверяют, что документы потеряли, – это чтобы сразу обратно не выслали. Рассказывают про себя страшные истории. Нестрашные здесь не рассказывают. Да еще с подробностями. Тычут свои слоновьи кисти, в которые якобы шприцом загнали расплавленный вазелин. Страшилки и ужастики. Да еще такое загнут, что хоть садись и детективы строчи. Будто мама в детстве не учила, что нужно говорить правду. Бьют на жалость! В рай они захотели! Мученики нашлись! А дело не в жалости. Дело в выяснении обстоятельств. Для того чтобы не пустить в рай, очень важно узнать то, что было на самом деле. Но как выяснишь, если люди здесь становятся рассказанными ими историями. Никак не выяснишь. Значит, все

просто: раз нельзя выяснить правду, то нужно выяснить хотя бы неправду. По инструкции, неправдоподобие в показаниях дает основание поставить вот этот самый штамп. Так что получше придумывайте себе легенду и не забывайте, что самое главное – мелкие детали, подробности. Кто бы поверил в то же воскрешение, если б не деталь с пальцем, вложенным в рану, или как стали вместе есть печеную рыбу? А вообще-то, штамп штампом, но, положив руку на сердце, разве пейзаж так черен, как вы его малюете? Да вы оглянитесь! Вот тучи ползут на пузе. Вон на скамейке кто-то поел и оставил газету, а теперь воробей клюет буквы. На плотине, видите, блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Сирень пахнет дешевыми духами и верит, что все будет хорошо. Камни и те живые, размножаются крошением. Да вы и не слушаете. Как об стенку горох. Знают только свое: напали, связали, отвезли в лес, избили да бросили. Может, и правильно сделали, что избили! Долги-то платить надо или не надо? То-то же! Или вот были в один день два парня, вместе сдались: один якобы из подмосковного детдома, а другой из Чечни. А через неделю из полиции переслали их паспорта – они спрятали свои документы в какой-то бетонной трубе у железной дороги и рабочие их случайно нашли. Оба из Литвы. Приехали на каникулы. За гостиницу платить дорого, а так – и крыша над головой, и накормят. И результаты костного анализа показали, что им далеко за шестнадцать. Штамп. Штамп. Или вот сдается семья: папа, мама и дочь иерусалимская. Уверяют, что бежали из Жидятина – мочи не стало терпеть преследований древлян. Это, говорят, не древляне, это настоящие фашисты! Да спасет Бог евреев, а если не может, то пусть хоть гоев! Стали рассказывать, как их православные избивали – у мужа и жены выбили передние зубы, а дочь, ей не было еще двенадцати, изнасиловали. Петр, как положено, каждого допрашивал отдельно. Папа и мама говорили примерно одно и то же, как по выученному тексту: угрозы по почте, ночные телефонные звонки, нападения на улице перед подъездом *et cetera*. А потом пригласили девочку. В открытую дверь было видно, как она прижалась к маме и не хотела идти, а та ей сказала: “Иди, не бойся!” Вошла, села на край стула. Петр, чтобы как-то ободрить, протянул ей шоколадку, у него в правом ящике стола лежат шоколадки для таких случаев. Это инструкцией не предусмотрено, но кто ж запретит? И вот Петр спрашивает, религиозна ли их семья, а та в ответ: “Ей-богу! Мы в церковь все время ходим”. И для пущей убедительности перекрестилась. С испугу все перепутала. Батя наверняка негоциант-неудачник, а с партнерами-древлянами шутки плохи. Историю, чтобы сдаться, взяли стандартную, верняк – кто ж посмеет иудеев не пожалеть? Думали, что обойдется: ведь отсутствие зубов нельзя симулировать, да и изнасилование ребенка, согласно медицинскому осмотру, действительно имело место. Штамп. А чего стоит только посмотреть, как подписывают протокол! Один – послушно кивая, мол, мы люди темные, что нам скажете подписать, то и подмахнем, другой будет сверять даже правописание географических названий. Третий, который приехал с пачкой справок из всех домов скорби, костоправен и кутузок и уверял, что никому больше на этом свете не верит, потребовал даже письменного перевода протокола – устного ему, вишь, недостаточно и подписи под неизвестно чем он ставить из принципа не будет. Петр ему сразу – штамп. А тот и здесь митинговать. Пришлось свистеть стражу. Пригрозили алебардой. Такому и в нашей ближнелюбивой недолго до костоправни. А четвертый вовсе попросит занести в протокол, что у нас тут хорошо, и не холодно и не жарко, а у них четыре времени года: зима, зима, зима и зима. Знаем мы вас! Сдайтесь как мученики зимы, а потом воровать! Сколько раз было: сначала знакомимся на интервью – здрастье-здрастье, а потомжданная встреча в полиции, как поймают на воровстве – толмач ведь и в полиции подрабатывает – о, старые знакомые! Давненько-даवनенько! И опять начинаются страсти-мордасти, мол, директора магазина “Мигро” на выходе у касс вовсе не кусал, а если и кусал, то только потому, что тот стал душить. Так вот, вернемся к нашим баранам. Вы на себя посмотрите! До седин дожили и всё в бегах! Где паспорт? Не знаете? А мы знаем: на вокзале в камере хранения. Или в бежен-

ском хайме у ранее сдавшегося дружка-корешка. Вот оформим вас, получите подорожную по казенной надобности на придуманную фамилию, выйдете и прямиком за документами. Что, не так? Потом устройтесь на всем готовом – и вперед: воровать да скупать по дешевке краденое. Горюет, а сам ворует. Ни плут, ни картежник, а ночной придорожник. Голодный, и архиерей украдет. И про работу нам тут мозги не пудрите! Да кому вы здесь такие нужны? Тут и без вас много желающих. Много званных, черномазый, да мало избранных. Здесь в магазинах воруете, а у себя там в ларьках продаете – вот вся ваша работа. Ну и что, что все на сигнализации! Не знаете, что ли, как сумки делать? Это очень просто: берете алюминиевую фольгу и изнутри приклеиваете, получается как отражающий мешок, никакая сигнализация не сработает. Выноси что хочешь. Потом переправляете. Как? Да хотя бы по почте. Пишете, мол, подарок, поношенные вещи и прочая дребедень. Тут главное обратный адрес. В телефонной книге найдите кого-нибудь поприличней, а еще лучше какую-нибудь благотворительную организацию. Никто тогда и не придерется. Понятно? Что значит – не получится?! Глаза боятся, руки делают! Не вы первые, не вы последние! Так что говорите правду и ничего, кроме правды! И не забывайте, что в ваши леденящие кровь истории никто давно не верит, ведь жизнь состоит еще из любви и красоты, потому что я сплю, а сердце мое бодрствует, вот, голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! – потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночью влагою. Вы поняли ваши права и обязанности и что в рай все равно никого не пустят?» GS: «Да». Петр, беря у толмача бумажку с текстом приветствия: «Вопросы есть?» GS: «Пусть говорящие фиктивны, но говоримое реально. Правда есть только там, где ее скрывают. Хорошо, люди не настоящие, но истории, истории-то настоящие! Просто насильовали в том детдоме не этого губастого, так другого. И рассказ о сгоревшем брате и убитой матери тот парень из Литвы от кого-то слышал. Какая разница, с кем это было? Это всегда будет верняком. Люди здесь ни при чем, это истории бывают настоящие и ненастоящие. Просто нужно рассказать настоящую историю. Все как было. И ничего не придумывать. Мы есть то, что мы говорим. Свежеструганая судьба набита никому не нужными людьми, как ковчег, все остальное – хлябь. Мы станем тем, что будет занесено в протокол. Словами. Поймите, Божья мысль о реке есть сама река». Петр: «Тогда приступим». И понеслась: вопрос-ответ, вопрос-ответ. А из форточки хлопья снега. Как это так? Только что было лето, а уже заснежило. В окно виден двор, там какой-то негр под присмотром полицейского большой железной лопатой соскребает снег с дорожки. Тонкое железо царапает асфальт, совсем как в Москве. А вот повели на интервью вторую утреннюю партию озябших GS, кутаются в куртки и шарфы, в основном негры и азиаты, топают по свежевывавшему снегу, и чей-то ребенок, арабчонок или курд, а может, иранец, кто их, пятилетних, разберет, все норовит зачерпнуть горстью и слепить снежок, а мать на него цыкает и тащит за руку. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потом перерыв, кофе из пластмассового стаканчика. В другом окне другой двор, тоже снег, и негритята играют в снежки. Но эти негритята ведь только что играли в снежки, или уже год пролетел? И снова вопрос-ответ, вопрос-ответ. Будто разговариваешь сам с собой. Сам себе задаешь вопросы. Сам себе отвечаешь.

Перед сном толмач пытается читать, чтобы забыться. Хочется еще, прежде чем выключить свет и положить подушку на ухо, унести на другой конец империи и пройти вместе с Киром по пустыне, имея Евфрат по правую руку, в пять переходов 35 парасангов. Там земля представляет собой равнину, плоскую, как море, и заросшую полынью. Встречные растения – кустарники и тростники – все прекрасно пахнут, словно благовония. Там нет ни одного дерева, а животные разнообразны: встречаются дикие ослы и большие страусы. Попадаются также драхвы и газели. Всадники нередко гоняются за этими животными. Ослы, когда их преследуют, убегают вперед и останавливаются, так как бегут гораздо быстрее лошадей.

Когда лошади приближаются, они опять проделывают то же самое, и нет никакой возможности их настигнуть, разве только в том случае, если всадники становятся в разных местах и охотятся поочередно. Мясо пойманных ослов похоже на мясо оленей, но нежнее. Никто не поймал ни одного страуса, а те всадники, которые пускаются за ними в погоню, быстро прекращают ее. Убегая, страус отрывается далеко вперед, пользуясь во время бега и ногами, и крыльями, поднятыми как паруса.

Закроешь книжку, пытаешься уснуть, а в голове опять вопрос-ответ, вопрос-ответ. Опять про каких-то переодетых милиционеров, которые норовят взломать дверь, ворваться в квартиру, перевернуть все вверх дном, отбить почки, сломать руку или ребро. А Петер им вопрос: в детстве вы плавали с родителями по Черному морю на лайнере «Россия» и в самых неожиданных местах, например на вентиляторах над головой, замечали вдруг выпуклые готические буквы “Adolf Hitler”? Ответ: да, было. Вопрос: ваш сын, когда пришли гости, от скуки залез под стол и стал снимать со всех тапочки, и ноги вслепую шарили по паркету? Ответ: да, было. Вопрос: вашей маме, когда ее хоронили, на лоб положили полоску бумаги с молитвой, и вы вдруг подумали: кто же и когда будет это читать? Ответ: да, было. Вопрос: в Перми есть речка Стикс? За ночь замерзшая? Вы бросили палку, а она подпрыгивает на льду, и лед звенит гулко, пусто, легко? Ответ: да, было. Вопрос: а куда плыла по ночам та девушка, одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху, и так хотелось эту ладонь поцеловать, но боялся разбудить?

А под утро толмач проснулся весь в поту и с бьющимся сердцем: приснилась Гальпетра, и все снова – урок, доска, будто не было всех этих прожитых десятилетий. Лежал, смотрел в светлеющий потолок, возвращался в себя, держась за сердце.

Сейчас-то чего ее бояться?

А что именно было во сне – сразу забываешь, остается только ощущение школьного страха.

И еще неприятно – никогда не знаешь, в какой империи проснешься и кем.

Толмач уже выключил компьютер, а тут опять включил, чтобы записать, как ворочался, не мог заснуть, и почему-то вспомнилось, как Галина Петровна водила нас на экскурсию в Останкино, в Музей творчества крепостных. Был еще сентябрь, но выпал первый снег, и Аполлон Бельведерский стоял посреди круглого заснеженного газона. Мы стали обстреливать его снежками. Все хотели попасть туда, где листик, но ни у кого не получалось, а потом Гальпетра на нас накричала, и мы пошли на экскурсию в музей. Помню эхо в холодных темных залах, увешанных почерневшими от времени картинами. По навощенному паркету плавали отражения окон, как льдины. Мы скользили, будто на катке, в огромных войлочных тапках, надетых прямо на ботинки, и наступали друг другу на пятки, чтобы идущий впереди упал. Гальпетра шикала на нас и раздавала подзатыльники. Как сейчас вижу ее с темными усиками по краям рта, в шерстяном фиолетовом костюмчике, на голове белая вязаная шапочка из мохера, зимние сапоги с полурасстегнутой молнией, чтобы ноги не очень прели, на сапогах музейные тапки, похожие на какие-то лапландские снегоступы. Из рассказов экскурсовода запомнилось, что если крепостные балерины в театре плохо танцевали, то их, задрав юбку, пороли на конюшне – наверно, запомнилось именно из-за этого: задрав юбку. И еще помню, как нам показывали гром: если по ходу действия нужно было изобразить грозу, то в огромную деревянную трубу сверху сыпали горох. Этот аттракцион входил в экскурсию, и некто невидимый сверху высыпал в трубу пачку гороха. Но главным образом та экскурсия запомнилась тем, как кто-то мне шепнул, что наша Гальпетра – беременна. Это настолько показалось мне тогда невозможным, непредставимым, чтобы наша не имеющая возраста усатая классная могла забеременеть, ведь для этого нужно, чтобы произошло то, что происходит между мужчиной и женщиной – женщиной, а не нашей Гальпетрой! Я вгля-

дывался в живот старой девы, истово боровшейся в школе с тушью для ресниц и тенями для век, и ничего не замечал – Гальпетра была такая же толстая, как всегда. Я не хотел, никак не мог в это поверить, ведь непорочного зачатия не бывает, но меня убедили слова: «Уже вся школа знает, что она идет в декрет». И вот мы стояли и слушали, как горох превращается в раскаты далекого грома, в Гальпетре что-то необъяснимо росло, а в окне за снегопадом было видно здание Останкинского телецентра, и по снегу шел к нему Аполлон Бельведерский, не оставляя после себя следов.

Толмачу этим тунгусским утром выпадает проснуться толмачом в однокомнатной квартире напротив кладбища. Может, потому здесь и недорого снять жилье. Зелень как зелень. Подробна, шипуча, перната. А радио с утра везде, а не только в соседней квартире, сообщает бодрым голосом об убийствах и ограблениях, происшедших за ночь. Крематорий сразу и не заметишь, вроде как чья-то вилла на склоне горы. И никогда не дымит, хотя там работают, как здесь повсеместно принято, не покладая рук. Все дело в фильтрах. В трубе установлены фильтры, чтобы не пачкать дождь.

Про белку, пробегающую по ограде, я уже писал.

Соседей долгое время не было видно. Лишь их белье. Стирают в подвале, там несколько стиральных машин. Машины почти всегда заняты, а на веревках в комнатах-сушилках ждут своих тел застиранные носки, заштопанные старческие чулки, довоенные трусы.

До какой войны?

Что-то показалось толмачу в этом доме странным, когда он приехал сюда год, нет, уже полтора года назад. И он не сразу понял, что же не так с этим огромным зданием, в котором всегда тихо. Только обратил внимание, что никогда не слышно детских голосов. А потом заметил, что здесь лишь однокомнатные квартиры и в них живут старые люди. Они казались ходячими застиранными чулками и носками.

Толмачу досталась квартирka на первом этаже, с выходом на газон, на котором всегда что-нибудь валяется. Вот сейчас трава шевелится от капель и прямо под окном мокнет тюбик от зубной пасты “Colgate”.

Соседей слева и справа не видно, но слышно. Тот, который слева, пересвистывается с брелком от ключей. Тот, который справа, говорлив. Курлыкает сам с собой по-птичьи. Ходит по ночам зимой и летом в кальсонах и майке. Однажды толмач возвращался очень поздно, часа в два ночи, а сосед подметал дорожку.

Зубная паста – с седьмого этажа. В первые же дни после переезда стали падать сверху на газон перед самым окном разные предметы – и вовсе не мусор. Один раз упал телефон, потом комплекты постельного белья, потом радиоприемник, какие-то продукты, поварешки, открывалки, канцелярские мелочи, разные блокнотики, коробки со скрепками, конверты. Не каждый день. Иногда неделю ничего не летит, потом глядь – ножницы. Толмач все это собирал в черные полиэтиленовые мешки для мусора, а всякие полезные вещицы, чего уж там, просто прикарманивал – что с неба упало, то пропало. Вот в ящике стола лежат небесные карандаши, клей, те самые ножницы. И толмач никак не мог понять, кто все это бросает и зачем. А в один ветреный день газон покрылся белыми упавшими листьями, будто какому-то бумажному дереву пришла осень. Оказалось, бюллетени для голосования. У нас ведь тут что ни праздник фонарей, то референдум. И вот на этих бумагах были указаны адрес и фамилия. Куда: лучший из миров, кому: фрау Эггли. Толмач сходил посмотреть на таблички с фамилиями жильцов, и все совпало – фрау Эггли живет прямо над ним на седьмом этаже. Он поднялся и позвонил ей в дверь. Мало ли, может, просто сквозняк и у нее все бумаги сдуло с подоконника. Просто хотел вернуть. Никто долго не открывал. Толмач хотел уже уходить, когда за дверью послышалось шарканье. Наконец дверь приоткрылась. Сначала в нос ударил запах, а потом в темноте толмач разглядел восьмисотлетнюю старуху. Даже удивился,

как от такого ссохшегося существа может быть столько запаха. Извинился и стал объяснять про бюллетени, что вот, мол, у нее упало, а он принес. Она молчала. Он спросил, еще раз посмотрев на табличку у звонка: “Sie sind ja Frau Eggli, oder?”³ Она прошамкала: “Nein, das bin i nöd!”⁴ – и захлопнула дверь. Нет так нет – может, ее подменили во младенчестве. И снова время от времени сверху что-то падает.

А до этого толмач жил в другом доме, и не один, а с женой и сыном. И вот так получилось, что теперь его жена стала женой другого. Так бывает и в нашей империи, и во всех других. Ничего особенного.

По телефону толмач каждый раз спрашивает сына:

– Как дела?

И тот всегда отвечает:

– Хорошо.

На Рождество, когда толмач позвонил узнать, понравился ли посланный в подарок набор юного фокусника, – сын сказал:

– Всем дарит подарки только один папа, а я получаю подарки от двух! Правда, здорово?

– Правда, – ответил толмач.

И еще сын иногда присылает забавные письма с вложенными картинками. Однажды придумал свою страну и нарисовал карту.

Толмач прикрепил эту карту кнопками к стене.

Вопрос: Итак, вы утверждаете, что ищете убежища для вашей намаявшейся, израненной души, уставшей от унижений и мытарств, от хамства и нищеты, от подонков и дураков, и что вам угрожает всюду подстерегающая опасность стать игрушкой и жертвой зла, как будто на вашем роду, да и на всех остальных, лежит неизбывное проклятие, и как страдали ваши бабушки и дедушки, так страдает и нынешнее поколение, и так будут страдать еще не рожденные до седьмого колена, а при случае и дальше. В качестве вещественных доказательств вы предъявили пробитый щипцами невыспавшегося контролера билет от Романсхорна до Кройцлингена, листок из школьной тетрадки с какими-то каля-маля и сношенное до дыр тело. Однако все по порядку. Вы зарабатывали на хлеб насущный – ведь у вас семья да еще старая мать на шее и сестра, так и не вышедшая замуж, – служа телохранителем у одного успешливого журналиста, умнички и злыдня, ведущего телешоу, убогого, но обожаемого смертными, ибо приносило в их хижины и дворцы надежду и крупницы света. К названному журналисту попали Бог весть откуда материалы об источнике зла. Все дело было в игле. Игла была спрятана в яйце, яйцо в селезень, селезень в зайце, заяц еще в ком-то, а все это в свою очередь запихнуто в дипломат. И вот в прямом эфире бесстрашный журналист собирался публично достать содержимое и, обломав кончик иглы, уничтожить зло. Сильные мира сего (зло ведь всегда думает, что это оно добро, а добро, наоборот, зло), понятное дело, не дремали. Получая анонимные угрозы, смельчак при всех читал их вслух и тут же рвал на мелкие кусочки, демонстрируя невидимым, но вездесущим врагам свое презрение. И вот однажды под мокрым снегопадом вы попрощались с ним до завтра, он сел в машину, зачехленную снегом, со своей новой женой – со старой развелся за полгода до этой жидкой каши на ветровом стекле, разгребаемой дворниками, – и вы еще подумали, что видите его в последний раз. Впрочем, мысли ваши никогда никого в этой жизни не интересовали. Они сидели, включив в машине печку, и, пока воздух в салоне нагревался, хотели жить долго и счастливо и умереть в один день и в одну минуту. Она говорила: «Черт с ней, с правдой, не надо никакой правды, Славик, любимый мой, мне страшно за тебя и за себя. Пожалуйста, очень тебя прошу, не

³ Вы ведь госпожа Эггли? (нем.)

⁴ Нет, это не я! (швейц. – нем.)

надо ничего!» Только он хотел ответить – машина взорвалась. Следствие стало разрабатывать версию ошибки: взрывное устройство просто подложили не в тот автомобиль, и оперативники изучали данные на владельцев всех белых от снега «БМВ», оставлявших в тот сыкотный вечер свои автомашины возле Останкинского телецентра, где на стоянке под каждым фонарем выросли живые пирамиды из снежных хлопьев. Искали также дипломат с правдой, но не нашли. Бывшая супруга погибшего, оскорбленная и растоптанная в своем женском естестве, еще когда он был жив, пыталась вытеснить предавшего их любовь из своего подсознания и время от времени звонила ему и молчала – о, как похожи все одинокие брошенные женщины, глушащие ярость сопением в телефонную трубку! Боясь сойти с ума, она пошла к психотерапевту и прорыдала два часа – ведь они прожили вместе столько лет. Выждав положенное, психотерапевт, у которого был стеклянный глаз – он часто прикрывал его рукой, – предложил ей представить прошлую счастливую жизнь как просмотренный видеофильм и сказал, что нужно расслабиться, закрыть глаза, еще разок пересмотреть пленку в ускоренном режиме, чтобы все смешно семенили, целовались, будто клевали друг друга носами, и занимались любовью с резвостью хомячков, затем вынуть кассету из магнитофона и выбросить ее в мусоропровод. «У нас в доме нет мусоропровода», – ответила женщина. Наконец, узнав о случившемся, она снова наревелась, но совсем по-другому – теперь она могла разрешить себе думать о том, что любит его, вспоминать хорошее и наслаждаться этими воспоминаниями. Теперь это были благодатные слезы, омывающие душу и приносящие облегчение. Ведь когда он был жив, она если и вспоминала его, то только в прошедшем времени – будто он умер, и вот теперь это случилось, он умер по-настоящему, и притворяться больше не надо. Однажды, возвратясь в пустую квартиру, она почувствовала, что в комнате кто-то без нее был. Все вещи оставались на своих местах, но ее охватило какое-то странное жгучее ощущение. Ноги ныли от усталости, она прилегла и вдруг почувствовала запах на подушке – запах его одеколона. Значит, он приходил. Это и понятно – душа погибшего от рук убийц мужчины не хочет покинуть этот мир, ибо в нем осталась любящая его женщина, и она нуждается в его защите. Ведь так хочется верить, что близкие нам люди, покинувшие эту жизнь, не навсегда потеряны нами, что они где-то рядом и в трудный момент смогут прийти на помощь. Много уже написано об условности смерти, когда вдруг выясняется, что убитый жив – и все убитые и умершие тоже. Ведь корни травы живут себе и не знают, что кто-то уже ее сжевал. В другой раз, придя домой, она увидела на полуослепшем бабкином зеркале, покрытом старческими пятнами, размашистую надпись красной губной помадой, сделанную его рукой. Погибший сообщал, что его убийца – вы. Это, в общем-то, и понятно: чем торгуем, то и ворует. Неудивительно, что убийство заказали именно охраннику. Всем ясно, что так проще и надежнее. А вы оказались между молотом и наковальней. И согласиться трудно, и отказаться нелегко. Как ни крути, а вы – крайний. Разумеется, мертвые тоже могут ошибаться, но сами понимаете. И вот следствие принимает новый оборот, и в убийстве журналиста обвиняют вас. Вам приходится скрываться. Сюжет набирает динамику, теперь, чтобы оправдаться, вам нужно найти настоящего убийцу, а еще лучше – ту самую исчезнувшую правду. Прямо детектив какой-то получается. Тем временем бывшая супруга убитого отправилась на прием к ясновидящей, от той только что вышла женщина, просившая снять порчу с семьи – у нее за один год скоростижно умер муж, погибли в автокатастрофе дочь с зятем и внучкой, тяжело с рождения болен внук, оставшийся сиротой, и еще пожар в квартире. В комнате провидицы пахло курившейся смолкой, а за окном в старом дереве под корой прятались проеденные жучком письма, в которых он описал свою жучью жизнь и которые никогда никем не будут прочитаны. Получив условленный гонорар в конверте и пересчитав деньги, ясновидящая на вопрос, как связаться с мужем, которого нет, но он есть, дала адрес чата в Интернете, по которому он придет к ней онлайн с появлением первой звезды. В чате в назначенное время был единственный посетитель. Он. Ее интересовало лишь одно, и она все время выстуки-

вала указательным пальцем: «Любимый мой, почему ты меня бросил?» Он отвечал ей про какой-то шифр от ящика в камере хранения на Белорусском вокзале, а она снова и снова: «Я только хочу понять – за что?» Однако оставим их наедине и посмотрим, а что же происходило в это время с вами. Вернуться домой, где наверняка уже поджидала засада, вы не могли. Вы боялись, что они могут что-то сделать вашей жене и сыну, хотя ребенок не от вас и уже вырос, но для любви и развития сюжета это не имеет никакого значения, так вот, вы поехали к армейскому другу, не доигравшему в детстве в солдатики и собиравшему оловянную панораму битвы при Ватерлоо. Армейская дружба, решили вы, святое. Люди, которые были вместе и достаточно близки, встречаясь через много лет, ищут ту ушедшую близость, хотя стали уже совсем другими, это можно сравнить с водой, которая была в вазе, а потом стала паром или дождем. Вы рассказывали, а друг курил, и струйки дыма из ноздрей били в тарелку с макаронами. Он понял, что дело безвыигрышное, что ему, может быть, придется погибнуть, помогая вам, но именно это и раззадорило. Достоевский, кажется, сказал, что жертва жизнью есть, быть может, легчайшая из всех жертв. На следующий день ваш друг, надев тельняшку, отправился к бывшей жене журналиста, чтобы выйти через нее на контакт с духом умершего и выведать тайну пропавшего дипломата. Услышав выстрелы, работники прачечной напротив вызвали милицию, и дежурный наряд, застрявший в пробке и потому приехавший, лишь когда час пик кончился, задержал благородного смельчака, незаметно подсунув ему в карман во время отчаянной схватки серебряные ложки, хоть он и пытался оправдаться, что уже нашел в комнате на кровати труп женщины, нюхавшей подушку и убитой выстрелом в сердце. Он бросился к ней для того, чтобы посмотреть, можно ли привести ее в сознание, – так ее кровь оказалась на нем. Затем он извлек пистолет из ее руки, вложенный туда кем-то так, чтобы это выглядело как самоубийство, и пистолет сделал контрольный выстрел в ногу, так как был снят с предохранителя, а ваш друг не умел пользоваться оружием. Таким образом объясняются на нем ее кровь, частички пороха и отпечатки пальцев на пистолете. Но это неважно, а важно, что верный товарищ успел прочитать на экране невыключенного компьютера и сообщить вам по телефону перед арестом шифр и номер камеры хранения на вокзале, где вы и взяли злополучный дипломат. Арест ни в чем не повинного, попавшего в беду из-за вас, придает действию хоть в некоторой степени напряжение и драматизм. Теперь вы шли по улице со злом в чемоданчике и думали, что делать. Все оборачивались на стекольный перезвон и скрежет – это старуха тащила по асфальту санки с детской ванночкой, набитой пустыми бутылками. В скверике молодые мамы с колясками обсуждали, как лучше отучить от груди, одна рассказывала, что ее мать, когда кормила младшего, намазала сосок горчицей, и сын, уже начавший говорить, скорчившись, сказал: «Сися – кака!» Если ребенок долго сосет грудь, поздно научится говорить, будет плохо разговаривать. Пенсионер, смотревший на них в окно, пошел на кухню, оторвал листок календаря и вздохнул: завтра Пушкина убьют. К полудню снег сделался рассыпчатым, губчатым, сугробы были объедены как саранчой, а под бузиной подтаявший наст прыщав. У входа в ресторан чуть приплясывал негр в ливрее, радуясь солнцу и сверкая золотыми пуговицами, наверно, приехал сюда когда-то учиться. В детском саду нянечка, когда дети уселись на горшки, открыла окно, чтобы увеличить простуду и уменьшить посещаемость. В окне кондитерской покоилась реклама: «Вчера ты слизь, а завтра зола». В зоопарке резвились львята, выкормленные собакой. В парикмахерской икала после обеда парикмахерша, думая о том, как вечером будет снова учиться играть на гитаре – она подкладывала под струны поролон, чтобы беззвучно отрабатывать аккорды. Напротив, в художественном училище, натурщик позировал с носком, надетым на фаллос, у него не было специального мешочка с тесемками. Крест на макушке церкви был привязан цепями, чтобы не улетел. Служба уже закончилась, женщины в платках, отгородив проход к алтарю натянутой веревкой, мыли затоптанный пол, ворчали. Нищий на паперти знал, что лысым подают плохо, поэтому всегда был в шапке.

В интернате для детей-инвалидов воспитательница перетряхивала в спальне у девочек матрасы, копалась в постелях, рылась в тумбочках в поисках запрещенной туши для ресниц, а заветная коробочка, обвязанная ниткой, висела за окном. На рынке в аквариумах для рыбок продавали малосольные огурцы. Небритый кавказец протирали яблоки грязной тряпкой. В школе проходили Гоголя. Молодой учитель объяснял, что побег носа – это побег от смерти, а его возвращение есть возврат к естественному порядку жизни и умирания. Влюбленные ехали в автобусе зачать себе ребенка, прижимались друг к другу в толкучке и вместе со всеми пассажирами приплясывали на задней площадке – потом, дома, она, замерев с пахучей кофемолкой в руках, подумала: «Господи, как просто быть счастливой!» – а он открывал банку сардин, наматывая крышку на ключ, будто заводил этот мир, как часы. А еще кто-то должен был разгружать говяжьи туши, вздернутые на крюки и искрящиеся инеем в вагоне-рефрижераторе, где стоит морозный туман и вокруг лампочки мерцает мглистая светящаяся баранка. И никто в городе больше не знал тайну кавалергардских белых лосин, плотно облегающих ноги, – их надо было надевать мокрыми и высушивать на голом теле. Отчаявшись, вы отправились к известному филантропу и правозащитнику, назовем его, допустим, Ветер, записались на прием и сидели в прихожей, барабаня пальцами по искусственной коже чемоданчика. Ветер – один на всем белом свете, кто мог вам помочь обнародовать правду и наказать торжествующее за окном зло. Кто-то ведь должен был в прямом эфире прилюдно обломать злу кончик! Наверно, так думали многие, потому что приемная была полна какими-то беженцами из Средней Азии в рваных выцветших халатах. Это был старый особняк, на который давно уже зарился один нефтяной банк. Потолки были украшены античной лепниной, и никого уже не удивляло, что Аполлон, бог искусств, убивал одного за другим всех детей Ниобеи, а потом превратил ее саму в камень – и страдания матери были таким образом окончены. Но ждали вы напрасно – Ветер таинственно исчез из своего кабинета, а тело его нашли в соседнем саду вздернутым на сук – вот она, излюбленная всеми тайна закрытой комнаты. И пусть исходила пресса в бессильных догадках о мистике и неведомых потусторонних силах, все оказалось просто: три бомжа, три бывших танкиста, оскорбленных за унижение державы, решили отомстить либералам. Их запомнили по особым приметам: зубы-гнилушки светились в темноте. Еще они любили вспоминать, как в начале 38-го на Ленинград обрушились груды бананов. А один из них сказал: если знать, что смерти нет, что ты не умираешь, а просто «переходишь» в какую-то другую жизнь, то есть что умираешь как бы не всерьез, понарошку, то все это недостойно – умирать надо с достоинством, по-мужски, всерьез, зная, что смерть есть. А произошло вот что. Один выстрелил, проходя по улице, из старого дуэльного пистолета, заметив, что Ветер как раз стоял у открытого окна и думал отчего-то о тургеневских сапогах, виденных им много лет назад в музее. Сапоги стояли за витриной ссохшиеся, мертвые, и не верилось, что они когда-то были живы, пахли ногой и кожей и после охоты в них насыпали овес, чтобы вытянуть сырость, выносили проветривать, а потом обмазывали дегтем. На выстрел Ветер выглянул на улицу, второй бомж-танкист из окна верхнего этажа накинул на него петлю и вздернул старика наверх, а затем скинул в другое окно, выходившее в сад, пропитанный спелым вечерним светом и подписанный, как приговор, стриженным росчерком, где третий из соучастников повесил тело Ветра на сук. Быстро стемнело. Вы отправились на электричке в Подлипки, где жила ваша старенькая мама и сестра, учительница, преподававшая литературу. На вокзале через громкоговорители без конца объявляли, что жизнь – это натянутый лук, а смерть – это полет пущенной стрелы. В электричке, натопленной, надышанной, пропотевшей, вы прижимали к себе дипломат и представляли себе, как мама и сестра сейчас сидят за столом, пьют чай, едят блинчики с творогом и смотрят новости – как раз показывали, как автобус с заложниками в Назрани взлетел на воздух, и человеческие куски парили, искусно снятые рапидом, словно комья красного снега. Вся электричка читала детективы. Это и понятно. В детективе предполагается,

что до того, как совершено преступление, до появления первого трупа, в мире существует некая изначальная гармония. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавливает миропорядок. Это древняя функция культурного героя. Ему сумерки по колено. И к тому же ясно, где добро и где зло, потому что добро всегда побеждает и нельзя ошибиться: если победило – значит, добро. Да и вообще читают, потому что страшно пропустить жизнь, как комар, – где-то во тьме, невидимо и неслышимо. Детектив – это тот же ужас, как в газетах, только с той разницей, что заканчивается хорошо. Просто не может кончиться как-то иначе. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. Как в сказке: зверь из преисподней захватил остров и правит людьми, недорисованными, непрописанными. Отгрызает головы. Они боятся, но живут. Жить-то как-то надо. И вот появляется герой, распираемый отвагой и восточной мудростью, и дает зверю сапогом по яйцам. А газеты лучше вовсе не открывать – не новости, а сводка особо опасных преступлений, ледящих душу и дующих на флюгер общественного мнения: по последним опросам, опять все требуют введения, во-первых, публичной смертной казни за изнасилование их дочерей и сыновей и, во-вторых, шариата, чтобы вора рубили руку – в следующий раз захочет что-нибудь украсть, хватать – а нечем. Рядом с вами сидела некрасивая девушка, с волосами, растущими везде, где не нужно, умирающая по ночам от безлюбья, и читала про иудейскую секту саддукеев. Вы, скосив глаза, пробежали по строчкам, в которых говорилось: саддукеи утверждали, что в будущем не будет ни вечного блаженства для праведных, ни вечных мучений для нечестивых людей, отрицали бытие ангелов и злых духов, а также будущее воскресение мертвых. «Так ведь это мы саддукеи и есть», – вздохнули вы. Электричка уже подъезжала к Подлипкам. За окном на насыпи промелькнула половина собаки, привязанной мальчишками к рельсам. От станции можно подъехать на автобусе, но вы решили пройти пешком, подышать. Подходя к пятиэтажке, вы поздоровались с бабушками на скамейке и подумали: вот вас убьют, а они, как положено, будут обсуждать похоронные подробности, какой был гроб и громко ли плакала вдова. Вошли в подъезд и, вместо того чтобы, как обычно, пробежать лестницу быстрее, чтобы не вдыхать запахи из углов, осторожно, прислушиваясь, вглядываясь в темноту и хрустя пустыми шприцами, стали медленно подниматься по лестнице. И замерли. Наверху, на следующем пролете, кто-то стоял и тихо переговаривался, а когда вы остановились, разговор оборвался. Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами, и тут началось описание природы. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумном, весело распевали ранние птички. В запруде по отражениям облаков бегали небомерки. Осина, убитая грозой, грифельна. Вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца, стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз забронзовел. Ветер зачесал ель на пробор. Лес, по Данту, – это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши заложены верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать названия небу, хотя и там, как в океанах, есть свои проливы и моря, впадины и отмели. Лязг затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о своей собаке с человеческими глазами. Она понимала хозяина с полуслова. Ему казалось, что она человек, только в шкуре и с лапами. Но когда у нее родились щенки, с ней что-то произошло. Один раз он пришел домой и увидел, что она отгрызла своим детям головы. Что-то вывихнулось в природе, такого не могло быть, такого не должно было быть. Он вынужден был ее пристрелить. «Обошлось», – вздохнули с облегчением вы и поднялись наверх. Открыли дверь своим ключом и отступили перед открывшимся зрелищем, охваченные ужасом и изумлением. Как позднее было установлено следствием, начиная с трех утра мирный сон обывателей квартала нарушался душераздирающими криками, но,

напуганные временем, лихим, разбойничьим, соседи затаились. В квартире все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу найдены были четыре наполеондора, одна серьга с топазом и два мешочка со старыми юбилейными рублями, которые здесь все автоматы принимают за пятифранковую монету с Вильгельмом Теллем. У окна разбитая трехлитровая банка с грибом – подсох, скукожился. И никаких следов вашей сестры и матери! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и – о ужас! – вытащили за голову труп сестры: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана – явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно испарано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. Причем самое интересное, что вашу сестру обнаружили в комнате, запертой изнутри, задвинуты были и шпингалеты на окнах. Опять тайна закрытой комнаты! Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, во двор, где чуть тлела помойка, распространяющая в оттепель зловоние, и там наткнулись на мертвую старуху – ее так хватила бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Везде в комнате были оставлены следы: недоеденные остатки блинчиков с творогом, которые попробовали убийцы, а значит, оставили слюну, окурки с губной помадой, в пепельнице сгоревшая спичка с обугленным хвостиком, стаканы с отпечатками пальцев, следы правого ботинка сорок пятого размера, что заставляло думать об одноногости злодеев, но следственная группа не нашла никаких улик и зацепок, и в пресс-бюллетене, зачитанном на брифинге, утверждалось, что убийца – гигантский свирепый орангутанг, который вылез в окно, захлопнувшееся само собой, когда зверь убежал. Опускаю в целях краткости, ведь скоро обед, в животе уже урчит, а мы еще только в самом начале, потому и описание убийств людей, о которых мы ничего толком не знаем, не вызывает ни особого горя, ни гнева, ни жгучего протеста, все мы, выпучив глазки, ляжем на салазки, опускаю, повторяю, остальные злоключения чемоданчика, зашифрованное письмо, близнецов, похожих как две капли воды, потайные ходы, разбитое снаружи окно – если осколки внутри, и разбитое изнутри, если околки снаружи, и, хотя вовремя не залававший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком, перехожу к вашим заключительным показаниям, к финальной погоне, в которой слабовато закрученный сюжет достигает апогея. Вы бежите с дипломатом, из-за которого весь сыр-бор, по полю, розовая гречиха, голубой лен, но тут вы запутались и потом внесли поправки в протокол, якобы вспомнили пыльную дорогу через клубничное поле – после жаркого дня остро пахло ягодами. За вами смертельная погоня – с одной стороны, правоохранительные органы, с другой – мафия, что, как вы понимаете, одно и то же, и вот перед вами река, полная сверху отражениями, а внутри временем, налита им до краев. Коряга вошла в воду по пояс и ловит капустницу на выставленный локоть. За кустами мальчишка удит рыбу. Забрасывает крючок, гибким концом длинной удочки вспоров воздух. Наживка чмокает реку, по времени бегут круги. На них запрыгал шарик от пинг-понга, подплывающий степенно, неторопливо. Слышно, как где-то вниз по течению рычит волк, блеет коза, доносится скрип уключины. У берега комариные заросли. Паук ловит в свои сети холодок, заготавливает к осени. Тронул его пальцем, тот полез по паутине на небо. Над рекой замерли величавые облака, а тут же с капустного поля дачники тащат кочаны мешками, с молоком матери впитав: не пойман – не вор. Кто-то приспособил в заборе крышку от рояля. В ее тени свернулся шланг, тяжелый, в нем вода. Парочка на песке на другом берегу – издалека не поймешь, что там – поцелуй или искусственное дыхание, но раздумывать некогда, позади спецназ, уже слышно,

как они кричат: «Господь знает, куда ведет нас, а мы узнаем в конце пути!» И еще скандируют лужеными глотками: «Страшно ведь не то, что жизнь кончится, а то, что она может больше никогда снова не начаться!» Вы сняли ботинки, чтобы было легче плыть, опустили в черную воду ногу, она сразу ушла по колено. Под ступней скользко поползли стебли, побежали, залопались пузыри, запахло гнилью. Вы опустили вторую ногу – на кругах закачался, запрыгал белый шарик, как раз доплыв до вас. Вы бросились вплавь, но берег, казавшийся всего в паре взмахов, будто стал играть с вами в догонялки. Вы плыли долго, а он был все в той же паре взмахов. Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходилось одной рукой, и дипломат утягивал вас на дно. Барахтаясь, вы хлебнули воды, и над головой сомкнулся водяной потолок. Открыли глаза – желтая стена с веточкой водорослей и круг солнца сквозь лучистую муть. Вы боролись, пока вдруг не почувствовали невероятную легкость. Стало беззаботно, восхитительно. Вдруг пронеслось в голове: «Зачем же я боролся, если это так легко и чудесно!» Вас спас капитан Немо на своем «Наутилусе» и высадил на берег уже в Романсхорне. Там вы купили вот этот билет и сели на поезд до Кройцлингена. Устроившись у окна так, чтобы был вид на Боденское озеро, стали смотреть, сколько денег в бумажнике, и наткнулись на рисунок вашего сына, вот эта самая каля-маля, которую он нарисовал вам на день рождения, и с тех пор вы носите этот клочок с собой, а в окне тянулись голые деревья, наклоненные вправо, как буквы, написанные женским почерком, и вы поняли, что это вам ваша жена написала письмо, что любит вас и ждет. Вы заснули, а потом уже надо было выходить, вы выскочили на платформу и спохватились, что забыли дипломат, а также все документы, удостоверяющие вашу личность, но было уже поздно, поезд ушел. Все так?

Ответ: Да. Кажется, так. Не знаю. Может, я что-то и напутал. Вы извините меня, я волнуюсь.

Вопрос: Да вы успокойтесь. Все уже позади. Хотите воды? Я понимаю, вам сейчас трудно.

Ответ: Спасибо! Честное слово, я старался рассказать все, как было, а видите, что получилось.

Вопрос: Ничего страшного. Каждый рассказывает, как может.

Ответ: Я ничего не придумал, все так и было. Вы мне верите?

Вопрос: Какая разница – верю, не верю.

Ответ: Может, вам показалось, что это слишком, как бы сказать, надуманно, что ли, про камин или про облака и ворованные кочаны, но все как было, так я и рассказал, зачем мне что-то выдумывать?

Вопрос: Да вы не переживайте так! Здесь и не такие истории рассказывают. Все хорошо. А что похоже на детектив, то вы же сами сказали – просто хочется, чтобы все хорошо кончилось. Вот в чем все дело.

Ответ: Да, в этом все дело. Именно. Так хочется, чтобы все хорошо закончилось. Скажите, все будет хорошо?

Вопрос: Послушайте, вот вы взрослый человек. Седина на висках. Пожили. Неужели вы не понимаете, что то, что вы рассказали, для вынесения решения в конечном счете неважно?

Ответ: Как неважно? Почему? А что же тогда важно?

Вопрос: Ну, неважно, и все. Какая разница, кто таскал капусту с поля и куда пропал чемоданчик. Пропал и пропал. Ведь вы же не верите, в самом деле, в селезня, и зайца, и какую-то ржавую булавку?

Ответ: Нет, конечно.

Вопрос: Вот видите.

Ответ: Но что тогда важно?

Вопрос: Скажите, а вот про каля-маля и деревья на берегу как кривой почерк, это правда?

Ответ: Да.

Вопрос: Вы ее любите?

Ответ: Это что, необходимо для протокола?

Вопрос: Какие все-таки люди наивные! Приходят и думают, что кому-то нужны. Вот и прут, лезут, не успеваешь всех опросить. А кому вы нужны? И главное, верят в какие-то глупости. Один, вроде вас, даже в чем-то похож, уже седой, потертый, замызганный, с такими же глазами, потерявшими цвет, застиранными, стал уверять, что он где-то читал, в какой-то бесплатной газете, будто на самом деле мы все уже когда-то жили, а потом умерли. И вот нас воскрешают на том самом суде, и мы должны рассказать, как жили. То есть наша жизнь и есть тот самый рассказ, потому что надо все не только подробно рассказать, но и показать, чтобы было понятно – ведь важна каждая мелочь, брякающая в кармане, каждое проглоченное ветром слово, каждое молчание. Вроде как следственный эксперимент, на котором восстанавливается последовательность происшедших событий: я стоял вот здесь, на кухне, у заросшего ином окном, и смотрел в лунку, как во дворе кто-то откапывал пластмассовым желтым совком для мусора заваленный за ночь снегом автомобиль, а она вышла из ванной, закутавшись в халат, обмотав мокрые волосы полотенцем, включила фен, размотала полотенце, стала сушить волосы, разгребая их пальцами, я спросил: «Ты хочешь от меня ребенка?» Она переспросила: «Что? Я ничего не слышу!» И надо показать, как стоял у окна, почувствовать кожей стекло, услышать шум фена, увидеть ее спутанные, мокрые волосы, сквозь которые продираются пальцы, представить себе тот желтый совок на снегу. На суде этом никто не торопится, ведь надо во всем тщательно разобраться, и поэтому вечер надо показывать целый вечер, а жизнь – целую жизнь. И вот не спеша все восстанавливают, как было: сегодня перистые облака, завтра кучевые. Запахи, звуки – точь-в-точь. И показываешь, как тебе в каше попался камушек и сломался зуб – вот он, желтый осколок. Или как по рвоте на полу в вагоне метро определил, что человек ел вермишель – пахнет. Как влюбился, пока спал, и проснулся затемно счастливым – вот, слышите, как дворник скребет по асфальту?

Ответ: Но это же во дворе, посмотрите, озябший негр соскребает железной лопатой снег в сугроб! А там негритята играют в снежки!

Вопрос: Вот и он про то же, мол, все – настоящее, даже звуки. Короче говоря, все кругом и есть тот самый рассказ. И невозможно ничего утаить. Вот так я родился, вот так я прожил все эти годы, вот так умер. Но все это чушь, на самом деле все не так. Нельзя же быть таким наивным, чтобы думать, будто кто-то согласится слушать вас всю жизнь! Впрочем, извините, я сорвался, говорю о чем-то не том.

Ответ: Значит, ничего не получится?

Вопрос: Вы же сами знаете: легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Ответ: Все? Мне уходить?

Вопрос: Ну подождите! Сядьте.

Ответ: А я вот смотрю, все-таки интересная у вас работа. Прямо как следователь. Что, где, куда, почему да зачем. Вынь да положь. Хочешь не хочешь, а дело шей.

Вопрос: Было бы из чего шить. У следователя труп, топор, улики, очные ставки, опознания. До последнего момента не поймешь, кто подбросил в бассейн ядовитых рыбок. Загадка! Тайна! А тут что тайна?

Ответ: Как – что тайна? А мы? Мы, те, кто раньше как-то жили, а теперь пришли? Мы – разве не тайна?

Вопрос: Тайна лишь в том, что вы вообще появились на свет. Непорочному зачатию все удивляются, и никто в него не верит, а порочное никого не удивляет. Вот это тайна: все уже было, а вас еще не было, и вот вы здесь. И потом снова вас никогда не будет. Все остальное известно.

Ответ: Что известно?

Вопрос: Все. Что было и что будет.

Ответ: Но кому известно?

Вопрос: Как бы вам это объяснить попроще... Вот представьте, вас приглашают на Негритянский остров. И вы рады. Вы ждете чего-то хорошего, иначе зачем вас вообще приглашать. Едете и мечтаете о любви. И у вашей случайной попутчицы у окна напротив кожа цвета недозрелой июльской рябины, но неловко так ее в упор разглядывать, и вы отводите глаза и смотрите все время в окно, а там вечернее небо тоже светится неспелой рябиной – это закат подгоняет свою краску под цвет ее кожи. А потом, уже на берегу, море какое-то намыленное, а ветер захламлен криками чаек. По самой кромке перебегают трясогузки, семена ножками. Пахнет прибитая к берегу тина. Маленький причал. О его ноги бьются волны, бросаются в вас брызгами, как виноградинами. Чайки сидят на железных перилах. Птиц сдувает ветром, поднимется одна на миг и снова садится – и тоскливо пищат. Море и небо сливаются, будто стекло запотело, а потом горизонт вдруг снова появляется, словно прочерчен тонким карандашом по линейке. И вот приезжаете, а там в вашей комнате на стене считалка. И в ней все написано. И вот про этих негритят за окном, играющих в снежки, и про вас. Потому что вы и есть негритенок, пойдете купаться в море, утонете, и вас спасет капитан Немо. Приведет к себе в капитанскую рубку, разрешит крутить все ручки и колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, объяснять, что для чего, наденет на вашу курчавую головку свою пропотевшую, засаленную капитанскую фуражку. Понимаете, о чем я говорю?

Ответ: Не маленький. Все дело в считалке. Но это я уже после понял. А сперва еще нет.

Вопрос: И потом: все истории уже сто раз рассказаны. А вы – это ваша история.

Ответ: А какая у меня история?

Вопрос: Да любая. Всегда хорошо идет какая-нибудь простенькая, банально-сентиментальная история, вроде как была принцесса, а стала Золушкой.

Ответ: Я стал Золушкой?

Вопрос: Но это же образ. Метафора!

Ответ: Так бы сразу и сказали, а то Золушка какая-то.

Вопрос: Ну хорошо, не хотите Золушку, давайте что-нибудь другое. Какой-нибудь незатейливый приемчик, работающий на усиление напряжения и остроты ситуации – вроде один против всех, один хороший среди всех плохих. Этаким странствующий на метро рыцарь, борец за справедливость, защитник обиженных, утешитель сирот, а еще больше вдов, сам несправедливо гонимый и за чужую вину страдающий. Дешево, но всегда действует безотказно: такому добру с кулаками неизменно сочувствуют и всей душой жаждут его победы.

Ответ: Да какой из меня рыцарь, скажете тоже...

Вопрос: Ну а что? Вы же с детства мечтали быть бесстрашным правдоискателем! Хотели вырасти и стать сыщиком, бороться с преступниками, наказывать зло. Или уйти в тайгу этаким Робин Гудом, отнимать у туристов несправедливо нажитое, а праведно еще никто ничего не нажил, и отдавать все в детский дом. Или тем же капитаном Немо, ведущим свой подводный корабль на таран, топить плохих и спасать хороших!

Ответ: Не помню уже. Ну, мечтал.

Вопрос: Но вы же помните, как сидели рядом с какой-то ямой, или карьером, или оврагом, и вдруг там закричал ребенок. Вы бросились туда – а это кошка кричала.

Ответ: Да, мы сидели с пацанами у костра. Там была большая свалка. Со всего города привозили. Берешь разбитую пластинку и запускаешь в воздух. Или рваные грелки – из резины получались отличные рогатки. Перегоревшие лампочки взрывались, как гранаты. И вот сидели у костра, и те, кто постарше, рассказывали про малолетку. Страшно было туда попасть, и вот мы слушали, что там можно, а что нельзя. Вот, например, если нечего курить

в изоляторе, а хочется – что делать? Так они соскабливали кору с березовых прутьев веника и сушили. А чтобы прикурить – не было спичек, – брали вату из матрасов и подушек, клали на лампочку и ждали, когда она начнет тлеть. Но это так, цветочки, а страшно, помню, было слушать про прописку. Это когда тебя бьют мокрым полотенцем, а в нем завязаны костяшки домино. И кричать нельзя. А потом главное испытание, вроде игра такая: кем хочешь быть? На выбор: летчиком или танкистом. Если летчиком, то забирайся наверх и прыгай, лети головой вниз: ты же сам сказал, что летчиком. И выбора нет. Ты сказал, что летчик, – значит, должен отвечать за свои слова. Там никто просто так слово не говорит. Танкистом хочешь быть? Тогда разгоняйся и в железную дверь головой – на таран. И отказаться от своего слова не можешь. Тебя тут же опустят. А если разгоняешься и бежишь – значит, ты свой, и они могут в последнюю секунду подложить подушку. И нужно пройти через это, и не испугаться, и бежать головой на железную дверь.

Вопрос: А вы в Афганистане были?

Ответ: С чего вы взяли?

Вопрос: Методом дедукции. Как Шерлок Холмс. К нему доктор Ватсон приходит, а Холмс сразу смекнул, что тот прямиком из Афгана. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того ни другого и никогда о них не слышал. И вот по ногтям доктора, по рукам, обуви и сгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки сразу все стало ясно. Да и ранен в левую руку из допотопного ружья. Внук заряжал, а дед стрелял. Это же элементарно. А тут просто законы жанра. Сначала Афган, потом суровые будни мирной жизни: борьба со злом, несправедливостью, коррупцией. Незаслуженно осужден. Потом запутался, сломался, стал киллером. Потерянное поколение, свинцовые мальчики. Герои и жертвы чужой войны. Вы им: как же так, я – ветеран, я кровь свою проливал! А они в ответ: а мы туда тебя не посылали.

Ответ: А это здесь при чем?

Вопрос: Да при том, что вы же сами сказали, что все важно, каждое слово. Любое, вот тот же верблюд. Помните, когда вас везли на поезде – воинский эшелон шел долго, по жаре, и когда вы увидели первого верблюда, вдруг вспомнили отца. Он у вас был машинистом и рассказывал, как однажды рано утром вел состав по степи в Средней Азии и увидел впереди прямо на путях верблюдов, они слизывали росу с рельсов. Ваш отец гудит, они врассыпную, а один побежал не в сторону, а по путям, прочь от поезда. Состав уже не мог остановиться, и ваш отец его сбил. Помните?

Ответ: Да, но откуда вы знаете?

Вопрос: Откуда, откуда – от верблюда. Того самого. Не смог пролезть в игольное ушко и вот бежал от вашего отца по рельсам.

Ответ: Но это вас не касается. Ни мой отец. Ни тот верблюд.

Вопрос: Не хотите – не надо. Нет так нет. На нет и суда нет. Но разве вы сами не видите, что, кроме меня, никому на всем свете и во всей темноте не интересно ни про вашего отца, ни про того верблюда. Ну, продолжайте, сейчас вы будете рассказывать про третий тост.

Ответ: При чем здесь третий тост?

Вопрос: Ну как же, за погибших. Сейчас расскажете, что, как только собрались выпить третий тост за погибших, раздались выстрелы. Вы посмотрели в прибор ночного видения, кто же там стреляет, а это тот самый дед с внуком, который утром вам дыню принес, а вы ему консервов надавали, – дед стреляет, а пацаненок ему заряжает – то самое ружье, из которого ранили доктора Ватсона. Но только это вы там, у себя, герои и жертвы, а здесь вы – захватчики и убийцы. И война не чужая, а ваша.

Ответ: Неправда. Ничего там моего не было. Поначалу. Когда приехали – зима была, совсем без снега, ветер прямо пробирал до костей, мы в ватниках и то мерзли – а они босиком ходят. Я тогда впервые увидел, как дерево продают на килограммы. Взвешивают, ругаются. Дома в кишлаках чуть ли не из песка. Крестьяне в рваных халатах, совсем нет женщин, около дуканов на корточках сидят то ли нищие, то ли хозяева этих лавок. А на полках чего только нет: и японские магнитофоны, и телевизоры, и часы всех мастей, и парижские духи. И никакой особой вражды вначале не было. Просто все чужое. Помню, не по себе стало, когда увидели, как декханин пашет на быках, а на рогах качается магнитофон, поет что-то заунывное. И потом только понимаешь, что все не так: и мальчишки не мальчишки, и крестьяне не крестьяне. Бежит босоногая детвора за БТРом: «Шурави, бакшиш давай!» Сперва бросали им банку тушенки или сгущенку. А потом увидел первого мертвого: мальчишке лет двенадцать, а на автомате девять зарубок – значит, девять наших парней. И вот тогда уже, когда стали гибнуть ребята, с которыми успел подружиться, – началось. Очень хотелось отомстить. Особенно за наших, попавших в плен, за то, что они с ними делали. И страшно было самому в плен попасть. А у их пленных вид, будто прямо рады, что скоро сдохнут. Первого хорошо помню – сидит, чумазый, раненый, руки связаны за спиной колючкой, и абсолютно ничего не боится. Весь покорность судьбе. Отрешенность и спокойствие. Очень это угнетающе действовало. Вот и срывались. То кто-нибудь пнет его сапогом, то прикладом ударит, а это заразно – передавалось другим. Потом увидели, что они только от пуль умирают спокойно, с достоинством, и при этом панически боятся бескровной смерти – быть утопленным, задушенным или повешенным. И вот мы их клали под колеса или топили, как раз то, чего они боялись. Тут уж начинали визжать, кричать что-то, вырываться. А это только раззадоривало. Руки ему скручивали и сажали на «ласточку» – это когда чалмой свяжешь его сзади так, чтоб он не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. И вот живешь в таком постоянном напряжении, что нужно как-то расслабляться. Мы, когда не на операции, жили в таких временных модулях, и вот соседнему модулю нужно было каждый день какую-нибудь шутку подстроить. Один раз мы им потолок сгущенкой намазали – а там мух столько... Они нам бачок для умывания над головой у двери привесили: дверь открываешь – и все на тебя выливается. А то проверка реакции: учебную гранату в зеленый цвет покрасить и бросить в чужую комнату – кто какотреагирует. Умора! Кто простыней укрывается, кто газетой. Там без шутки никак нельзя. Потому что ночью поднимают, и идешь не знаешь куда. Один раз в ночь перекрыли ущелье и ждем чего-то. Тут караван с груженными ослами. Мы по ним – огонь. А это жители кишлака везли яблоки на рынок. Их же предупреждали, что комендантский час, а они все равно пошли. Хотели пораньше попасть на базар. И вот мы подошли и видим эти рассыпанные яблоки, спелые, красивые, и досадно так стало, что мирные жители лежат, что ошибка вышла. Так никто из нас эти яблоки даже не поднял. Ни одного яблока никто не взял. Так там и остались лежать.

Вопрос: Они же сгнили все давно, те яблоки, и ничего от них не осталось!

Ответ: Я знаю. Но это там они сгнили. А здесь вот они лежат на камнях, прямо светятся изнутри.

Вопрос: Где здесь?

Ответ: Вы же сами сказали, что мы все попали на Негритянский остров. Это там, где нас нет, вещи имеют форму, а здесь – суть. Я ведь вас правильно понял? Там, в той горной долине, яблоки сгнили, а здесь, на этом острове, они сгнить не могут. Ничего им не сделается. Так и будут лежать.

Вопрос: И вы поняли, что добро и зло – это один такой оборотень. Так?

Ответ: Нет. Еще нет. Ничего я тогда не понял. Понял только, что есть кто-то, кто тебя ведет и может спасти, вот как приметы или талисман. Когда-то в армии был обычай надевать перед боем чистое белье, а теперь все наоборот: перед боевыми не мыться, не бриться, белье

не менять – иначе убьют. Есть такие запреты, чего нельзя делать, чтобы обмануть смерть. Вроде как заключаешь с ней договор: я не делаю что-то, а ты меня за это сегодня не трогаешь. Если раненый в полуобморочном состоянии, когда сознание нечеткое, рукой у себя здесь, между ног, потрогал – значит, умрет. Ни в коем случае нельзя. Руки ему надо держать, чтобы не трогал. Нельзя вещи погибшего носить, место его занимать. Нельзя показывать на себе, куда ранили другого. И еще у каждого там был свой личный талисман или правило, и все это нужно было хранить в тайне. Вот я с убитых ничего не брал, даже часы. И замечал, что как только кто-то другой нарушал мое правило – погибал. Но потом-то я понял, что все это ерунда. Про кого что в считалке написано – то с ним и произойдет.

Вопрос: И негритенок дожил до дембеля и возвратился на тот край острова, где небо блекло, поезда норовят прийти утром, а в церквах надышано, намолено?

Ответ: Вроде того. В первые дни странно все было. Идешь по улице, забудешься и по крышам смотришь. Выхлоп машины – чуть не кидаешься на газон. И начались мирные будни. И все в них было не по-людски. И очень хотелось их исправить. Все стали устраиваться кто как может, деньги зарабатывать. Мне предлагали всякое. А я гордый был, честный, наивный. Какое-то время работал на рынке охранником. А потом понял, что больше так не могу. Уж больно много мрази кругом. Понял – нужна зачистка.

Вопрос: И начались мирные будни, ставшие полем битвы, как вам сказали при приеме на работу, света с тьмой. И сначала вы думали, что вы не один, а вас много таких, целый орден рыцарей-светоносцев, фонариками сражающихся со зверем мрака. А поди справишься с ним, если тьма такая, что ничего не видно. То есть куда ни плюнь, всюду это чудо-юдо. У вас даже эмблема на рукаве изображала негритенка, который лучом от фонарика, как копьем, пронзает пасть чудища, освещая гланды. Короче, негритенок пошел в ментовку и стал ментом. Так?

Ответ: Что ж спрашиваете, если все знаете.

Вопрос: Я знаю считалочку. А вы рассказываете свою историю. По считалочке негрятя покупали у одиноких стариков квартиры и убивали их. И это было ваше первое дело. Вы помните?

Ответ: Еще бы. Думал, уже насмотрелся в Афгане всякого, а тут простое убийство в обычной квартире: приходим, а там такая вонь, что не проветришь. На тарелке прокисшая картошка заросла серым мхом. Стакан из-под кефира – белые стенки потрескались. А в комнате на залитом кровью паркетном полу старая женщина в байковом халате, в розовых штанах, в разорванных чулках. Нога как-то неестественно подвернута. Все в морщинах зеленое лицо с гримасой боли. Что-то вдруг подкатило к горлу и заставило выйти на минуту из квартиры. Стоял на лестничной площадке и курил, пока не успокоился.

Вопрос: И на обратном пути, уткнувшись фарами в ночной туман, клокастый, нечесанный, ведь это была шерсть того самого зверя, светоносцы обсуждали статью в газете – можно ли обреченным помогать умирать или нет. И решили, что, наверно, все к лучшему – ведь старая пьянчужка, продавшая квартиру за смородиновый лист, все равно оказалась бы на улице и замерзла на помойке, и вообще от бомжей одна зараза.

Ответ: И к тому же она жила в соседнем со мной дворе. Через день, у меня выходной был, вышел в булочную, прохожу мимо помойки и вижу, как вынесли на двор ее кровать и тюк с бельем. А иду обратно через пять минут – кто-то в шлепанцах уже отворачивает ножки, и рядом стоит жена в бигудях, указания дает, а тюк с бельем уже исчез.

Вопрос: Короче говоря, поступив на работу в милицию, вы как бы свою жизнь сделали детективом, и каждый день читался как только что написанная страница. Утром за завтраком заглянешь в считалочку, что там у нас сегодня, – а после обеда все так и происходит.

Ответ: Да какой там детектив! Заглянешь в считалочку, а там пьяные на улице или домашние скандалы. Или мальчишки нахулиганят. И весь детектив. Один раз был случай,

пацаны придумали устроить крушение поезда, чтобы, как они потом объясняли, собрать с людей драгоценности. И вот на перегоне в лесу стали отвинчивать болты. И еще додумались отключить сигнализацию – кусачками перерезали провода под рельсами. А главные, стыковые гайки никак не могли отвинтить. Тогда сбегали к отцу одного из них в мастерскую, принесли специальный огромный ключ. Тут их обнаружил путевой обходчик. Спрашиваю парней: а людей не жалко было бы? Они в ответ ухмыляются. А вы говорите, детектив.

Вопрос: Но вы же кого-то арестовывали?

Ответ: Арестовывали. Помню первый арест: ворвались ночью в квартиру, перебудили детей, те кричат, перепуганная жена в халате пьет таблетки, а тот, который преступник, нервничает, идет в пижаме к шкафу одеваться и перед паласом выходит из тапочек при шаге на ковер, а потом входит в них, возвращаясь с ковра.

Вопрос: А зверь? Где был зверь? Вы же хотели сражаться со зверем.

Ответ: Где был зверь? Вы же сами сказали, что зверь был туманом. Вот он подступал к самым окнам и терся своей шкурой о балконную решетку. А мы выходили на него рейдом. С нас требовали липы. После каждого рейда нужно отчитываться протокольчиками. Чтобы все видели – рейд прошел не напрасно. А на самом деле ничего, кроме тумана. Напарник меня научил: в будни рисуешь протоколы за всякие там нарушения, а дату на них не ставишь. А когда рейд, извлекаешь протоколы из сейфа и датируешь нужным числом. Но это все в начале. А потом я попал в особую группу. Меня взял к себе Папашка. Мы все так его звали.

Вопрос: И это была группа, занимавшаяся закрытием особо опасных преступлений?

Ответ: Да. Но это я не сразу понял.

Вопрос: Расскажите про Папашку.

Ответ: Да что про него рассказывать. Был да сплыл.

Вопрос: Расскажите, потому что он вас любил. У него одни дочери были, а он о сыне мечтал. А тут вы с вашей поперечностью характера.

Ответ: Это прозвище у него такое было. Он всем в группе в отцы годился. Ходячая легенда отдела – старик еще писал письмо турецкому султану и ловил Гришку Отрепьева, Тушинского вора. Про него рассказывали, что он однажды спас из проруби старушку. А старуха опять полезла в прорубь. Она была сектантка и верила, что если снова креститься и пролезть зимой на реке подо льдом по веревке из одной проруби в другую, то станешь новым человеком, и все старые грехи останутся в старой жизни, а в новой ты – новорожденный младенец. Так вот, когда я понял, в чем дело, то стал в архиве пересматривать закрытые Папашкой дела. Смотрел и просто глазам своим не верил. Беру папку, листаю – это же заказуха, ясно как Божий день! Сами посудите: человек в наручниках – голову кто-то отгрыз. А проходит как самоубийство. Причем на вложенных в дело фотографиях всюду следы чьих-то лап. Это же он, зверь! Сорвался, поехал на место преступления, а там кровавый след. Прямо по свежему снегу. Я иду по отпечаткам, и следы напрямик через трамвайные пути ведут к Дому на площади! Это где все городские власти – милиция, суд, мэрия, сберкасса, почта. Он так и называется – Дом на площади, где пьют растворимый кофе и за окном растворимая дорога. И вот следы идут прямо на ступеньки. И все на улице видели эти следы. Все свидетели. Я их спрашиваю: видите? Кивают головами: знамо, зверь! Я написал рапорт, мол, так и так, требую вернуть дело на доследование.

Вопрос: Вы чувствовали себя героем?

Ответ: Нет. Ну, может быть, немного. Это я уже потом осознал, что делаю. А тогда даже был какой-то азарт. Будто я действительно проснулся героем какого-то детектива. Вдруг стало утром интересно просыпаться. Это тебе не рейд по пивным ларькам! Я тогда еще считал, что жизнь должна состоять из происшествий.

Вопрос: Дело вернули?

Ответ: Да, но не сразу. Меня вызвал к себе Папашка. Таким перепуганным я его никогда не видел. По считалочке его ожидали объятия белого мишки. И вот он испугался, что уже пора.

Вопрос: Что он сказал?

Ответ: Он сказал: «Мы едим говядину, корова ест траву, трава – нас».

Вопрос: Это все?

Ответ: Нет. Еще сказал, что, если бы камень обладал сознанием, он бы думал, что падает на землю свободно, а если бы так не думал, то все равно бы падал.

Вопрос: Но он кричал? Грозил?

Ответ: Нет, сидел у окна, смотрел на площадь и говорил, будто сам с собой. Он сказал: «Вот вчера помогал жене – шинковали капусту. А ночью не мог заснуть. Лежу с открытыми глазами, а в окне ветки шинкуют луну. И думал все о тебе – пропадешь ведь». Вздыхнул, потом добавил: «Я, Анатолий Батькович, может, тоже весь не уместаюсь между фуражкой и ботинками. Но раз живешь здесь и сейчас, то, пойми, нужно жить как река – течет и не знает, что зимой надо замерзнуть. А потом приходит зима, и река замерзает. Надо жить, Толя, вровень с веком и не выходить из его берегов».

Вопрос: А вы?

Ответ: Я сказал: «Нет, Павел Ефимыч, надо жить вровень с собой!»

Вопрос: Зачем же вы так со стариком. Он же добра вам хотел.

Ответ: Да знаю я. Знаю. Он тут чуть не расплакался: «Ты ведь мне как сын, думаешь, я тебя не понимаю? И я тоже был молод и хотел раскрывать преступления, страшные и бесчеловечные, руководимый чувством гнева и справедливости. Мне, может, тоже хотелось возиться с обугленными кусочками бумаги, проверять, кто и где был в тот дождливый момент, когда за окном мелькнула почтальонша на велосипеде с полиэтиленовым пакетом на голове, и выяснять, кто поломал ветки у старого земляничного дерева, что цветет под окном библиотеки! Думаешь, мне не хотелось очистить если не весь остров, то хотя бы наш Царевококшайск от всякой мрази, ловить гадов, давить выродков? А потом мне доходчиво объяснили, что рвение – излишне. И какая разница – кто убийца? Кого это интересует, если и так всем понятно, что это – заурядный, мелкий, ничтожный человек! Не Петров, так Сидоров. Послушай, Анатолий, вот я солдатом служил в пустыне, и мы от нечего делать ловили скорпионов. Поймаешь и бросаешь их в кольцо из огня. Хотелось нам, дурням, посмотреть, как они будут кончать самоубийством – ядовитым жалом себе в затылок. Так вот: ни один из них об этом даже не думал, все хотели жить до последнего – пока не сторали. Понял?» А я ничего тогда опять не понял. Отвечаю ему: «Я кровь видел, и боль, и смерть. Я людей убивал, правых и виноватых. Меня уже на испуг не возьмешь. Ну – убьют. Зато жить не стыдно». Тогда он как закричит: «Ты еще щенок, а у меня жена и три дочки! И дороже их у меня нет ничего на свете! А ты мне тут про стыдно-нестыдно! Ты сначала ручку своего ребенка в своей руке поддержи, а потом будешь про испуг говорить!» И схватился за сердце. Я к нему, а он хрипит: «Пошел вон, сопляк!» Позвонили жене, она приехала, и мы вместе увезли его домой. Пришли, уложили на диван. Она мне говорит: «Подождите, не уходите, я вас чаем напою». Детей не было, старшая – в институте, информатику изучает, младшие из школы еще не вернулись. У них на подоконниках – помидорная рассада в пакетах из-под молока, а на стенах фотографии. Стала мне рассказывать про всех родственников. Его отец был священником, потом заболел и ослеп, а сын должен был скрывать свое происхождение и писал во всех анкетах, что отец – инвалид, и все боялся, что откроется. Его бабка с материнской стороны пережила четырех детей – все сыновья – и говорила ему: ты у меня за четверых. Во время войны, в эвакуации, в голод его спасла мама – устроилась дояркой и воровала молоко, выносила в грелке, спрятанной на животе. А перед смертью, уже старухой, говорила: не смей хоронить в кольцах, все сними, украдут – продай лучше! А сама

жена Папашки, когда кормила младшую, у нее было столько молока, что она сцеживала его тонкими голубыми струйками в стакан, накрывала марлей и звала старших через открытое окно, а те не хотели пить, казалось слишком теплым, приторным, сладким. Она сама пила – не пропадать же добру.

Вопрос: А что стало с тем делом, которое вернули?

Ответ: Версию самоубийства замяли. Зато обвинили жену убитого – мол, собрался разводиться, а ей ничего не хотел оставить. То дела месяцами держат – люди в предварилке томятся, а тут все в момент обернули. Суд. Колония.

Вопрос: А свидетели? Были же свидетели?

Ответ: Были, да все вышли. А вы бы не испугались пойти и свидетельствовать – со всеми вытекающими?

Вопрос: Не знаю.

Ответ: То-то же.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Я пошел домой.

Вопрос: Вас там ждала маленькая слабая женщина, и вам нужно было, чтобы она вас, такого большого и сильного, поддержала?

Ответ: Наверно, так. Она однажды сказала, что я – настоящий мужчина: снаружи бункер, а внутри детская.

Вопрос: Как же так получилось, что она, девчонка еще совсем, а с вами, взрослым мужиком, как с котенком?

Ответ: Это она только с виду Дюймовочка. Я ведь ее в обезьяннике подобрал, в привокзальном отделении. Пьяную привели. Наши ребята с ней побаловаться хотели, а потом отпустить безо всякого протокола – жалко же девчонку. Я им сказал: «Оставьте, это – моя». И забрал ее к себе. Привез, поставил под душ. Стою и смотрю, как по груди, животу, ногам бегут черные струйки туши. Грудь у нее были маленькие, не больше надутый щеки, а соски крепкие, высокие, торчали, как две крыжовинки. И целовалась жадно – с цоканьем зубов. Так она и осталась у меня.

Вопрос: Но вы ее любили?

Ответ: Да. Не знаю. Наверно, думал, что люблю. У меня ведь до нее толком ничего не было. Она меня всему учила. И кричала каждый раз так, что соседи начинали стучать по трубе. Один раз я после этого пошел в туалет мыть руку – пальцы были в ней, во всех отверстиях – и подумал, глядя на ее флакончики перед зеркалом, что она все-таки не такая, как все другие. Мне казалось, что я в Афгане кое-что про женщин понял. Туда ведь ехали охотно – за граница, и платили чеками. Можно было накопить на квартиру, привезти что-то – одежду, телевизор – ничего же не было. Времена-то какие были – все только для своих, через закрытые распределители. А что делать, если ты никто и звать тебя никак, но тоже жить по-человечески хочется? Вот и ехали за чеками на войну – работали в госпиталях, при складах, на прачечном комбинате. Сходились с каким-нибудь полковником. Или с прапорщиком – это приравнивалось, потому что у прапорщика склад, а полковник может прапорщику приказать, чтобы что-то принес со склада. Жили они в общежитии – «кошкин дом». Но с нами, простыми солдатами, они, разумеется, не хотели – кто мы им? Что женщина могла с нас получить? Рваную портянку? И вот мне показалось, что Ленка – совсем не такая. Я ведь кто? Никто, мент с нищенской зарплатой. А привязалась ко мне. Приросла незаметно. И веселая. Смешно рассказывала, как сбежала от своих родителей-староверов. Пошла на нитяную фабрику с вредным производством – пыль от пряжи, – но зато место в общежитии. Потом ушла оттуда и устроилась официанткой в кафе. Рассказывала, как выковыривала грязь из-под ногтей и добавляла в мороженое – рассказывает и умирает сама от хохота. Мне нравилось, как она оттопыривала нижнюю губу и вздувала упавшие на глаза волосы. Она

устроилась работать в парикмахерской – и все время стригла меня. Чуть отрастет – стрижет. Мне так нравилось, когда она меня стригла. И еще любил смотреть, как она красится. Все спрашивал: а это для чего? А это? Она смеялась и показывала, смотри, чтобы накрашенные ресницы были еще длиннее, нужно с пудрой и мылом. У нее кончики ресниц слипались лучиками. Один раз вернулся с дежурства поздно, вошел в комнату, а она спала, спрятав голову под одеялом – только волосы стекали по подушке. Меня ребята в отделе предупреждали, что у таких Дюймовочек мысли юркие, как ящерицы, но зато входит такая в чужую жизнь, как нож, по рукоять. А я не слушал. Думал, завидуют. Они и завидовали. Один раз мы поехали с ней за город кататься на лодке. К озеру вела тропинка между зарослей ежевики. На Ленке была длинная широкая юбка, цветастая, из какой-то легкой тонкой материи. И вот юбка зацепилась за ветку ежевики и чуть порвалась. Ленка расстроилась, как ребенок. Я ей тогда сказал: «Ленка, ну ты что? Я же тебя люблю». А до этого никогда еще не говорил.

Вопрос: Вы собирались пожениться?

Ответ: Да. Но не успели. Уже подали заявление. Она выбрала себе свадебное платье и звала сходить в ателье посмотреть, а мне все было некогда.

Вопрос: Но Дюймовочке ведь по считалке выходило быть замужем за кротом.

Ответ: Так и получилось. Но об этом я уже позже узнал.

Вопрос: И вот вы пришли домой.

Ответ: Я пришел домой. Она повисла у меня на шее. Вдруг прошептала как-то странно, серьезно: «Как же долго я тебя ждала!» Мы сели ужинать. Она под столом, сбросив тапочек, ногой гладила мне коленку. Потом спрашивает: «Толик, что-то произошло?» Я улыбаюсь: «Все в порядке. Ешь!» Она встала, обошла стол и села мне на колени. Схватила руками за мои уши – она любила так схватиться и крутить, как руль, – смотрит и говорит: «Я же чувствую, что-то произошло. Скажи, что?» Тогда я все ей рассказал: и про зверя, и про следы.

Вопрос: А она?

Ответ: Она испугалась. Я сказал ей, что надо что-то делать. Иначе никому не спастись. Этот зверь всем головы отгрызет. Я обнял ее: «Ленка, скажи, что мне делать?» Она прижалась ко мне крепко-крепко: «Милый, родной мой! Ты же сильный, ты все сможешь! Пойди на площадь, встань на колени, перекрестись на колокола и скажи, что ты – только шерстинка в его шкуре. И все будет хорошо».

Вопрос: А вы?

Ответ: Я вдруг почувствовал себя очень одиноким. Никогда раньше я это так остро не чувствовал – вот я стою один. Даже в ее объятиях. Один.

Вопрос: Вы ждали от нее чего-то другого?

Ответ: Да. Наверно, это неправильно, глупо, но я ждал чего-то другого. А она убежала с кухни в комнату и кричала оттуда: «Пусть у меня нет мозгов, но зато есть матка, и я хочу родить ребенка от отца, который рядом и любит!» Потом стала плакать. Я ушел и провел ту ночь в отделе. Ворочался на деревянной скамейке. Все думал, что делать. А утром меня вызвал к себе Папашка и отправил в какую-то командировку. Никому не нужную. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

Вопрос: Да он же просто спасал вас. Убрать с глаз долой, подальше, пока все уляжется, успокоится, забудется.

Ответ: Наверно. Теперь я тоже так думаю. Вернулся домой – Лены не было. И хорошо – я не хотел ее видеть. Стал собираться, ехать-то надо. Тут звонок в дверь. Открываю – какую-то женщину, немолодая, интеллигентного вида, в шляпке, с сумочкой в руках. Оказалось, это мать той, осужденной после доследования. Спрашиваю: «Вам что?» Она: «Ничего. Просто в глаза вам хотела посмотреть». Я захлопнул дверь.

Вопрос: И вы не подчинились приказу поехать в командировку и в одиночку стали расследовать дело, потому что у вас перед глазами все стояла эта женщина и вы должны были вернуть из тюрьмы ее дочь? Один хороший против всех плохих? Одиноким герой против тумана? А зверь был в вас?

Ответ: Нет. Вернее, да. То есть все было не так. Я поехал туда, не знаю куда, и перед глазами действительно все время была та женщина, ее глаза. И вот я уехал зимой, а приехал наутро в весну. Лежал на верхней полке и смотрел в окно, как деревья занимались любовью. И мысли все время цеплялись за ту ветку ежевики. А на следующее утро была уже не весна, а лето, вернее, просто ничего. Пустыня. Но какая-то не песочная, а каменистая. И вот я ходил по камням и искал то, не знаю что. А ночью я увидел вдали костры и пошел посмотреть, кто это может быть. Сперва подумал, что цыганский табор. А потом – да какие тут могут быть цыгане, наверно, беженцы. Там были повозки, лошади. Большой лагерь. Было поздно, все, наверно, уже спали. У костра еще кто-то засиделся. Я подошел поближе. Когда пламя разгоралось, черный силуэт человека перед костром становился меньше. Подошел еще поближе и удивился: они были одеты как древние греки. И говорили по-иностранным. Наверно, снимали кино. Теперь так часто делают – у них все дорого, а здесь по дешевке. Вот и приезжают.

Вопрос: Но время и пространство ветхи, истерты, непрочны. Вдруг обо что-то зацепятся – о ту вашу ветку ежевики? И порвутся. А в эту прореху может вывалиться что угодно, хоть древние греки.

Ответ: Может быть. Не знаю.

Вопрос: Они вас заметили?

Ответ: Один, услышав шаги, вскочил, стал всматриваться в мою сторону, но в темноте меня не увидел. Я пошел дальше своей дорогой. В ту ночь я понял, что должен сделать. Все дело было в считалке. Я должен был ее остановить. Как бы это сказать... Я должен был встать поперек считалки.

Вопрос: Чтобы негритята не ходили купаться на море?

Ответ: Да, я должен был задержать негритят. Чтобы все остановилось. Чтобы все было по-другому. Чтобы я мог смотреть в глаза той женщине. Чтобы вернулась ее дочь. Чтобы не нужно было никого и ничего бояться. Чтобы жизнь была ясна и добра.

Вопрос: Но вы же знали, что по считалке один негритенок хотел остановить считалку, попал под суд, на зону, и там его опустили за то, что он был ментом.

Ответ: Да. И поэтому считалку нужно было остановить.

Вопрос: Но как вы хотели это сделать?

Ответ: Очень просто. Я должен был выйти на площадь и сказать: «Я – не шерстинка!»

Вопрос: Да, но...

Ответ: Не перебивайте! И вот я возвращался на поезде. В купе соседи без конца ели: на газете помятые, треснувшие яйца, лопнувший, в хлебной крошке, помидор, соль в спичечном коробке. И кто-то читал вслух статью из той мокрой и сальной газеты, расстеленной на столике, о том, что наш остров занимает первое место по числу абортных на душу населения, а в тюрьме, наоборот, никто из заключенных женщин от детей не избавляется – все сохраняют и стараются забеременеть хоть от охранника, хоть от кого-нибудь, так сказать, непорочное зачатие. И один мужчина, который сидел напротив и окунал картофелины в горку влажной соли на той статье, на тех самых женщинах, говорил, что ребенок для них – средство получить усиленное питание, к тому же они не работают, а главное – это амнистия в связи с материнством. Их в первую очередь освобождают. А потом они выходят с зоны, и большинство таких матерей по статистике на воле детей бросают. Потом он стал рассказывать про своего товарища, священника, у которого была собака с человеческими глазами. Просто человек, только в шкуре. И она отгрызла своим детям головы. Тогда этот поп ее убил. Он отхлебнул чай и, глядя в окно, сказал: «Что можно ждать от страны, где матери убивают

своих детей?» А поезд как раз медленно ехал по мосту через реку, а на замерзшей реке, на снегу, двое – он и она – вытапывали большие буквы, огромные, чтобы издали было видно, из проходящих поездов, как раз из нашего окна.

Вопрос: И что они вытоптали? Какие слова?

Ответ: Не знаю. Они только начали, а поезд уже проехал мимо.

Вопрос: Но это же важно!

Ответ: Но я же не мог остановить поезд!

Вопрос: Ну хорошо. И вот вы вернулись, сели на трамвай, доехали до Дома на площади.

Ответ: Я вернулся, сел на трамвай, доехал до Дома на площади. Иду от остановки. Издалека вижу, как в окно мне Папашка машет. Кричит неслышимо, бьет костяшками пальцев по стеклу, показывает что-то руками. Он увидел, что я без разрешения вернулся, и все понял. И вот я выхожу на середину площади, тут он выбегает из дверей, кричит: «Анатолий! Что ты делаешь! Молчи! Не надо! Ничего не изменишь, а себя погубишь!» Он сбегал по ступенькам, а вход как раз под окнами, где суд. И тут из окна на него свалились огромные часы. Белый мраморный медведь с циферблатом на пузе.

Вопрос: Вот они, обьятия белого мишки.

Ответ: Да. Я подбежал к нему. Старик еще дышал, вернее, сипел, свистел почти. И смотрит мне в глаза. Будто все понимает, но говорить уже нет смысла. Похороны были только во вторник – из-за вскрытия, из-за того, что суббота и воскресенье – выходные. Было много народу, все наши, начальство, какие-то ветераны. Вдова и три дочери – все в черных платках. Было морозно, так они сначала надели шапки, а на шапки уже повязали платки. Да и мужчины все стояли в ушанках, вернее, приплясывали, чтобы как-то согреться. Гроб выскользнул из веревок и встал вертикально – пришлось вытягивать обратно и снова опускать. Могилу выкопали заранее, а накануне похорон ударил мороз, и все заledenело – не могли закопать. Долбили землю ломом, лопатами – не оставишь же могилу открытой. В гробу Папашка вытянулся, как на параде. Какая-то женщина рядом со мной – не знаю, кем она ему была, – вздохнула: «Вот, Паша, ты и в гробу красавец. Прямо не покойник, а жених». А я смотрел на него и вспоминал: по телевизору рассказывали, что раньше хоронили сидячими – в позе эмбриона, с ногами, прижатыми к груди, как бы для того, чтобы человек мог родиться вторично. А могила – это как матка. То есть погребение в могилу и есть совокупление с землей, вроде как оплодотворение земли человеком. Выходило, что Папашка – жених земли. С одной стороны – для нас – похороны, а с другой стороны – для него – свадьба. Поэтому покойников и моют и одевают, как на свадьбу. И венчик даже на голове Папашки – это как у вступающего в брак – венец. И вот раньше, те же греки, думали, что мертвые, женившись, продолжают жить в могилах и питаются тем, что им принесут, и пьют вылитое на них вино. А у нас ведь то же самое: посмотрел на соседние могилы, а там чего только за крест не положат – и яблоки, и бананы. А потом опомнился: Господи, о чем я думаю! Тут три девчонки из-за меня без отца остались...

Вопрос: И тогда?

Ответ: Тогда я на поминках выпил за упокой его души сто грамм, закусил блинком и поехал на трамвае. Туда. Вышел на площадь и сказал то, что должен был сказать. Стою на остановке и говорю: «Я – не шерстинка!»

Вопрос: И?

Ответ: Дальше все было по считалке. Суд. Зона.

Вопрос: А судья был с нашлапкой из красной глины на лбу, в мантии из алой занавески для душа и в парике из клубка серой шерсти?

Ответ: Да. А откуда вы знаете?

Вопрос: Догадался. А суд был – все как положено? Ничего не нарушалось?

Ответ: Все образцово.

Вопрос: И что он сказал, этот, в занавеске?

Ответ: А что может сказать судья? Сказал, что пережитое очищает душу, а осиленное горе закаляет ее, что истины не узришь, а ослепнуть – ослепнешь, что люди хотят друг другу добра и не умеют. Потом как закричит: «Как вы не можете уразуметь – это не просто эники-беники, аты-баты, это – сила жизни! Вы что – хотите стать поперек жизни?» Я ему: «А вы на меня голос не повышайте. Я вам больше не шерстинка. И ни суд ваш, ни жизнь по этой вашей считалке я больше не признаю. Делайте со мной что хотите». Он рассвирепел: «Это только некоторым умникам кажется, что вселенная проста, как валенок: вот шерсть, вот шкура, вот кровавый след через трамвайные пути, вот хвост торчит из трубы на морозном закате. Да только вот положительного героя нет! Где ему взяться в этом мире? Это в романах он бьет зверя по яйцам, да вот мы-то не в романе! И кто ты против считалки? Ею мир держится! А там черным по белому: негритенок заупрямился, сказал считалочке, что не пойдет к морю, так она его за шкуру. Нравится, не нравится, а к морю все пойдут! И к морю не пойдешь, а полетишь, и зверю яйца поцелуешь! Понял, падла?» И зачитал приговор, состоявший всего из одной фразы: «Только дикари верят в борьбу добра против зла». И от себя добавил, что разговаривать с дикарем, доказывая, что деревянная куколка вовсе не бог, а просто куколка, бессмысленно. И еще, уходя, сказал: «Извини, браток, за маскарад – но сам понимаешь, не в парике дело».

Вопрос: И весь суд?

Ответ: А что, мало?

Вопрос: Значит, свершилось правосудие.

Ответ: Дали последнюю свиданку с матерью и сестрой – и на этап. А Ленка не пришла.

Вопрос: Вы ей не могли этого простить?

Ответ: Сначала не мог, потом простил. Потом вообще другая жизнь началась. Вот ты свежий, еще волей пахнешь, еще ничего не понимаешь, а все надо знать. И никто тебе ничего не скажет, не объяснит. Сунул ложку в верхний карман куртки – нельзя, это знак петуха. Или пришел в столовую, сел на лавочку – нельзя, это стол, где обедают петухи.

Вопрос: Но что вы хотите? Чтобы петухов не было? Опускают на зоне осужденных за участие в групповом изнасиловании малолетних – это насилие, но таким образом торжествует справедливость. Око за око. Не все же верят в наказание на Страшном суде. Значит, за свое нужно отвечать здесь. А вы же ментом были. Так что все вроде и в порядке вещей. И потом, петухи – тоже люди, и они живут как-то. Для всего есть свой порядок. Опущенные – это просто часть порядка. Разве у вас не так было?

Ответ: Так. Вот у нас на зоне было около тысячи человек, а петухов пятнадцать – двадцать. Они сидели за отдельными столами, но спали в общем бараке. Строгий режим – из своего барака ты никуда не денешься, петух ты или не петух. Но спали они в своем углу, в петушьем. Они, конечно, нужны. Убирают плац и уборную. Сами грязные, вонючие. И каждый проходящий должен их пнуть ногой – вот они и стараются никому не попадаться на пути. А что они грязные – так это понятно. Для петуха даже помыться проблема. Не пойдет же он в баню с обычным зеком. Да им и передвигаться по зоне нелегко. Допустим, вот вы – петух и идете по лестнице, поднимаетесь на второй этаж барака, а навстречу вам кто-нибудь идет. Вы, видя встречного, должны прижаться спиной в угол и ждать, когда мимо вас пройдут, чтобы ни в коем случае даже случайно не прикоснуться к полноправному зеку. И если ему покажется, что вы не слишком соблюдаете это правило, он ударит вас ногой. Ногами бить не запахло. Кулаками прикасаться к петуху – унижение, а ногами – в самый раз. И ничего нельзя поднимать с плаца. Если что-то уронил – все. Поднять ничего нельзя, потому что плац метут петухи. Если идешь в столовую и уронил свою ложку на пол – пропала ложка. И самое главное, следи, чтобы не законтачить. Миска в камере упала на пол – и все,

считается законтаченной. Из нее после этого нельзя есть. Или если ешь и упал кусок на пол – нужно сразу сказать: «Упало на газету», хотя, конечно, никакой газеты там и в помине нет.

Вопрос: Ну вы же не маленький, ведь во всем этом свой глубокий смысл – гигиенический! Жизнь требует гигиены. А на острове всюду жизнь. Это же все так естественно.

Ответ: Да я про то и говорю. Потому и занимают они нары, ближайшие к двери, чтобы меньше контактировать. А контактировать-то все равно приходится так или иначе. Скажем, петухи спят на нарах. Потом в отряде этих петухов не стало – освободили их или куда-то перевели. А нары стоят пустые, причем стоят долго. А по лагерным законам пустые нары разбираются и уносятся на склад. Так вот, сохраняют ли они статус законтаченных после того, как полетали на складе? Вот в чем вопрос! Ведь их могут выдать любому другому зеку. И вот идут споры – железо контактирует или железо не контактирует? Один раз меня вырвало. Я нашел какого-то петуха, чтобы тот убрал рвоту. Потом решил просто чисто по-человечески поддержать его, дал ему хлеба, курить дал. Причем, конечно, все честь по чести: я бы ему из рук в руки ничего не сунул. Положил на пол и сказал: вот, возьми. И вдруг такую увидел признательность в его глазах. Совершенно собачью. По-другому не скажешь. Так забитая собака смотрит, если приласкать. А мне говорят: тоже мне, нашел кого жалеть. Собаки – они собаки и есть. Скажут ему в тебя плюнуть в столовой – и конец. Тоже верно, конечно. Что есть, то есть. И у петухов своя градация – и все боятся главного петуха: если он тебя невзлюбит, ты завтра же станешь опущенным. Он любому своему шкварному прикажет тебя расцеловать при всех – и все. Потом этого шкварного избыют, истопчут, кости ему поломают, но ты уже опущен.

Вопрос: А скажите, что там важно?

Ответ: Что там важно? Да то же, что здесь, – семья. Там ведь просто люди живут, вот как я, как вы. Важен кусочек мира, где тебя ждут, где тебе рады. Вот и там тоже живут семьями, общаком. В семье защищают друг друга, лечат вас, если что, встречают из ШИЗО. Семья должна подготовить вам обнову, чаем запастись. Человеку нужно тепло. И чтобы ему кто-то улыбнулся. На зоне ведь нельзя улыбаться. Потому что улыбка – знак заискивания слабого перед сильным. И если кто-то подходит с улыбкой, то первая реакция – отталкивание, потому что воспринимаешь это как какую-то хитрость, тайную подлость. А так важно кому-то улыбнуться! Ночью вот лежишь и вспоминаешь, как в детстве, когда не мог заснуть, сам с собой играл: одну руку нагреешь под одеялом, она горячая, а другая за что-то холодное держится. А потом играешь, как два человечка идут пальцами-ногами по горам-коленкам, по складкам одеяла, по подушке. Будто один пропал, а другой блуждает в поисках пропавшего. И всегда теплая рука находила холодную, и человечки радовались, обнимались. Горячая рука отогревала, спасала холодную, укладывала к себе под одеяло – грейся, грейся! И еще я Ленку все время вспоминал. Как она оттопыривает нижнюю губу и вздувает упавшую на глаза прядку. Как я сажаю ее в ванну и мою губкой, как маленькую, потом укутываю, причесываю, отношу на кровать. Даже снилось несколько раз, будто я вышел на волю, вернулся домой, а уже поздно, открыл дверь ключом, прошел на цыпочках в комнату и смотрю, как она спит, спрятав голову под одеялом – только волосы стекают по подушке. А потом так страшно просыпаться в бараке.

Вопрос: А кормили как?

Ответ: Да не в жратве дело! Знаете, что еще там важно было? Слово.

Вопрос: Какое слово?

Ответ: Ну, вообще, просто слова. То, что вы говорите. Просто за каждое слово нужно отвечать. Ведь там никаких законов нет, кроме твоего слова, за которое ты ответишь. Вот ты в камере новенький. Кормушка маленькая, а народу много, всегда во время обеда, ужина – толкучка. Ты толкнул человека, тот пролил баланду. Толкнул нечаянно, конечно. А там нет слова «нечаянно». Ты оставил его без еды. И предложил свою, мол, я виноват, ешь. А в ответ

получил: «Твою шкварную буду есть?» Тебя называли шкварным, опущенным. И если ты на это не ответишь, значит, сам себе определишь место. Тебе предъявили обвинение, и если ты не возразишь, всей силой своей жизни не возразишь, значит, обвинение правильное. И никто тебе не поможет. Ты должен сам себя защищать. И должна начаться драка, и ты должен идти до конца. А если ты согласишься на слово – то ты это слово и есть. Теперь тебя должны опускать. И тогда тебе не жить. А вы говорите: слова.

Вопрос: Но кто-то же должен объяснить, когда приходишь, что можно, а что нельзя?

Ответ: Никто вам ничего не объяснит. Это вообще нельзя объяснить. Это как воздух, которым дышишь. Ты им начинаешь дышать и узнаешь. Если ты задаешь вопрос: «Можно?» – то можешь дальше не спрашивать, тебе ответят «нельзя». Человеку можно только то, что он сам считает для себя возможным. Попросту говоря, ты имеешь право на все. Только при этом за все, что ты делаешь и говоришь, ты должен будешь ответить, за каждый шаг и за каждое слово. Я там понял, что такое свобода. Это вовсе не отсутствие колючки. Нет. Это отсутствие страха. Это когда тебя ни за что нельзя подцепить. Когда у тебя ничего нет. Когда ты ничего не боишься потерять. Когда ты сказал слово и идешь за ним до конца.

Вопрос: Вы почувствовали себя там свободным?

Ответ: Один раз. По-настоящему. Начальство все про меня знало, кто я, откуда. И вот они меня вызвали и сказали, что я буду стукачом. А если не буду стучать, то они меня сдадут. И в тот момент я вдруг почувствовал такую свободу, которой никогда в жизни не было. Я им сказал: «Я – не шерстинка».

Вопрос: Ну, что же вы замолчали?

Ответ: Да что говорить?

Вопрос: Что случилось потом?

Ответ: Вы же знаете. Чего спрашивать попусту.

Вопрос: Я понимаю, вы не хотите рассказывать, как это было.

Ответ: Нет.

Вопрос: Не надо, не говорите, если вам это трудно. Я просто перепишу в протокол из считалки.

Ответ: Да пишите что хотите.

Вопрос: Хорошо, я напишу так: опустить здорового, сильного мужчину не так-то просто. Вас отправили в штрафной изолятор. Ночью, когда вы заснули, они сунули вам в лицо полотенце, обмазанное спермой. Вы вскочили, но достать затаренную мойку не успели, вас стали бить по голове чем-то тяжелым. Санузел в камере отгорожен небольшим металлическим щитом, мостиком – вас перегнули через мостик и стали насиловать по очереди. А потом еще сунули в задний проход черенок от метлы. Несколько дней вы провели в тюремной больничке, пока не прекратилось кровотечение из прямой кишки. Все так?

Ответ: Какая разница.

Вопрос: Потом, перед отправкой в зону, вы вскрылись. Правильно?

Ответ: Ну вскрылся, ну и что. Не хотел возвращаться. Хотел, чтобы отправили в краевую больницу. За пару недель до меня один парень вскрылся, и его отправили. А у нас замначальника колонии по режимно-оперативной работе – второй человек после хозяина – пришел, посмотрел на меня и сказал: «Никакой больницы». Вызвали врача, тут же, в коридоре, наложили швы и отправили обратно в штрафной изолятор. Вскрываюсь еще раз. В камере всегда найдется чем вскрыться. Разбил лампочку. Режу себе живот, причем обязательно надо так резать, чтобы вылезли кишки, в таких случаях местные врачи не рискнут зашивать сами. Приходит снова замначальника и говорит: «Ты хоть сдохни здесь, мы тебя никуда не отправим». Надели наручники, зашили кое-как живот и оставили одного, приковали наручниками к трубе.

Вопрос: Вы хотели умереть?

Ответ: Почему? Я хотел жить. Лежу в полузабытьи и ночью чувствую, что кто-то пришел. А это опять замначальника. Сел на табурет. Говорит: «Ты думаешь – я зверь? А ты поставь себя на мое место. Думаешь, мне тебя не жалко? Да жалко, конечно! Ведь доводит себя человек, кишки на ладонь вываливает. Но ты представь: вот отправят тебя в краевую, так еще двадцать человек будут резаться! Нужно же не о себе думать, а вот о таких, как ты! Я должен был всем показать, что этот номер не пройдет. Чтобы больше не резались, не калечили себя! А ты про меня: зверь! Я же вас, дураков, спасаю!»

Вопрос: Он вас спас?

Ответ: Да.

Вопрос: Отправил в больницу?

Ответ: Нет. Дело не в больнице. Там, ночью, я, наверно, бредил и все вспоминал, как на Новый год мы с моим Ромкой наряжаем елку – я сажаю его на шею, и он надевает игрушки на верхние ветки. Или как после купания я заворачиваю его в простыню и бросаю на диван, в подушки, стригу ему ногти – они после ванны размякли, а подушечки пальцев набухли, сморщились. И как потом, когда ребенок уже посапывает, я перекидываю его в кроватку, и в постели меня ждет она, моя любимая, единственная, горячая, шепчет мне: «Иди скорей!»

Вопрос: Подождите, но их же у вас еще не было – ни этой женщины, ни сына?

Ответ: В том-то и дело, что их не было. Даже не знаю, как вам объяснить. Этих дорогих мне людей у меня еще вовсе не было, а я уже готов был пойти ради них на все. Чтобы жить с ней просто, изо дня в день, вращая друг в друга. Чтобы сын мне на день рождения нарисовал каракули и приписал нетвердым почерком огромными буквами: «ПАПЕ», потому что эта каля-маля, может, и есть в жизни самое важное.

Вопрос: Значит, вас за это и подцепили – за каля-маля?

Ответ: Да.

Вопрос: Вам не нужна была свобода?

Ответ: Нет.

Вопрос: Поэтому вас освободили?

Ответ: Да. Я написал помиловку: «Шерстинка. Признаю считалочку. Вылетаю к морю. Целую». И все.

Вопрос: И что было потом?

Ответ: Все по считалке. Негритенок устроился шерстинкой в шкуре. Стал прилично зарабатывать, женился.

Вопрос: И в чем заключалась ваша работа?

Ответ: Знаете, раньше был обычай: при похоронах царя у его гроба душили любимую наложницу, виночерпия, конюшего, сокольничего, ключника, повара. Короче, всех, кто отвечал за его жизнь. Детям в школе это объясняют стремлением обеспечить царя на том свете всем необходимым. А на самом деле никакого того света нет. И это все школьники знают. Живой царь убивал у гроба умершего близких тому людей не для него, а для себя. Чтобы обслуживающий персонал понял, что к чему. Так сказать, гарантия безопасности и заботы.

Вопрос: Ваши близкие знали о вашей работе?

Ответ: Только я стал зарабатывать, захотелось сделать матери какой-нибудь подарок. Чего она хорошего в своей жизни видела? Она ведь у меня из детдомовских, проработала всю жизнь на резиновой фабрике. Я когда в детстве начинал канючить какую-нибудь игрушку, она всегда про детдом рассказывала. Тетрадей не было, так они каждый клочок бумаги использовали для письма – даже поля старых газет. Чернил тоже не было – разводили водой печную сажу. Да и последнее дети все друг у друга воровали: те, кто посильнее, просто отнимали у младших и перышки, и карандаши, и хлеб. Когда я не хотел есть суп, она вспоминала, как ее привели в детдом и в первый вечер поставили миску супа, в котором плавала дюжина мух, и она не стала есть. А потом все, что ни давали, ела и вылизывала, даже если

сосед в тарелку плюнул. А во время войны детдом не эвакуировали, все начальство сбежало, остались только няньки и дети. Немцы затребовали списки детей, няньки отдали, а потом спохватились – там ведь проставлена национальность. Немцы пришли и по спискам забрали еврейских детей. Сначала все думали, что в гетто, а потом узнали, что всех расстреляли. Для меня все это было как при царе Горохе. А для нее как сейчас. А еще рассказывала, как работала на резиновой фабрике – окунала колодки в резину, чтобы получались галоши. Когда умер мой отец, она на работе не могла сдержаться, начинала плакать, и слезы попадали на колодку. Знала, что будет брак, – и не могла остановиться. Там, где слеза упадет, резина уже ни за что не пристанет. А вентиляция была плохая, и начиналось отравление, особенно у тех, кто имел дело с клеем. Расхохочется одна, и весь конвейер начинает хохотать. Приходилось срочно останавливать конвейер – успокаивать людей, умирять. И вот я приезжаю к ней – она еще тогда одна жила, это потом уже переехала к своей старшей дочери в Подлипки. У меня сестра – учительница, так с ней невозможно ни о чем разговаривать – сразу начинает про свою школу, про то, какой ужас там с наркотиками. Говорит: «Так и детей не захочешь рожать – вырастет ребенок, а какая-нибудь тварь даст ему ширнуться в подъезде. Тех, кто заражает наших детей наркотиками, публично нужно вешать! Публично! На площадях!» Короче, приезжаю я к матери – в хорошем костюме, с дорогими часами, ботинки одни стоят столько, сколько весь их конвейер, наверно, за всю жизнь не заработал, и говорю: «Мать, вот я тебе купил путевку в Египет. Слетай, мир посмотри!» А она в слезы. Я ее обнимаю, глажу по голове, она к старости маленькая стала, уткнулась мне лицом в живот. Говорю: «Мать, ну ты чего?» Она мне в ответ: «Толичка, сыночек, ничего мне не надо, у меня уже все есть. Раз у тебя все хорошо, мне больше ничего не надо!» Я ей: «Мать, ты что? Это же Египет! Колыбель цивилизации! Фараоны! Пирамиды! Мумии!» Так никуда и не поехала. У нее на подоконнике стоял гриб в трехлитровой банке. Она мне все предлагала, чтобы у меня тоже был, а не хотелось с банками возиться. Заедешь на пять минут – и бегом дальше. Все время говорил ей: «В следующий раз!» И лечу. Так она и стояла в двери с банкой в руках.

Вопрос: Вы женились на женщине с ребенком. Вы знаете его историю?

Ответ: Нет. Я не хотел знать никакой истории. Я так долго ждал этого человека, мою Таню, что все истории не важны. И она меня так долго ждала, что все остальное не имеет никакого значения. Это так важно – засыпать и знать, что рядом она, смотрит на меня, облокотившись о подушку. Или взять ее руку и положить себе на глаза. А утром проснуться от запаха глажки – она гладит, и от гладильной доски поднимается такой пахучий пар. Звоню ей с работы, спрашиваю: «Новости есть?» Она отвечает: «Есть. Я тебя еще больше люблю». Когда я уезжал куда-то, она укладывала мои вещи и засовывала записочки. Писала просто так, пару слов, какую-нибудь ерунду: «Целую». Или: «Соскучилась, приезжай поскорее». Или: «Выпрямись, не сутулься». Или: «Я тебе сегодня приснюсь». Она умела сниться.

Вопрос: А с ребенком сложно было? Все-таки чужой...

Ответ: Ромка-то? Да я его сразу полюбил. Он, конечно, сначала букой. Забьется в угол и молчит. Жена рассказывала, как он в пять лет объявил, что на ней женится. Терпеть не мог, если она с каким-нибудь мужчиной разговаривала, – сразу скандал, слезы, истерика – защитник. Не даст обидеть. Один раз на автобусной остановке бросился с кулачками на кого-то пьяного. А я ему говорю: будешь со мной корабли из мыла делать? И вот мы стали делать наш флот: линкоры, эсминцы, подводные лодки. Берешь кусок мыла, разрезаешь на пластины толщиной в палец. Из пластин обломком бритвы аккуратно вырезаешь корпус, палубные надстройки, орудийные башни, шлюпки. А мачты и стволы орудий – из проволоки. Канаты из ниток. Когда мыло подсохнет, мы красили корабль черной тушью. И по столу плывет целая эскадра с подводными лодками! Его оторвать нельзя было. Все вздыхал: «Вот бы там оказаться внутри, в кают-компании!» У него рыжие волосы, я иногда звал его в шутку рыжиком – он надувался. Когда пришли расписываться, я его усыновил. Он только научился

буквы разбирать, все подряд читал, все вывески. И постановление об усыновлении тоже взял и стал громко читать по слогам. Потом говорит: «Толь, ты че, теперь мой папа?» А я ему: «Почему теперь? Я и раньше был твой папа – это же просто бумажка».

Вопрос: Но ей важно было рассказать то, что тогда произошло?

Ответ: Наверно. Думаю, что да. И ее мучило, что она не могла. Я поэтому ни о чем ее не спрашивал.

Вопрос: Вы хотите узнать?

Ответ: Да. Ведь она хотела, чтобы я узнал. Просто никто, кроме нее, этого рассказать не мог. Вы знаете, что тогда случилось?

Вопрос: Нет. Про нее ничего не знаю. Знаю только про негритят. Негритята поехали к морю купаться. Рядом была деревня, где жили другие негритята. Приезжих негритят предупреждали, чтобы были начеку. Так что она все знала и понимала. Но там, в той деревне, был один негритенок, Руслан, совсем не такой. Когда встречал, говорил: «Таня, тебя никто не обижает из наших? Если что – скажи мне, люди разные есть!» Приносил фрукты из своего сада. Еще говорил, что про негритят из его деревни здесь рассказывают разное, и ему больно и стыдно, но не все же такие. В последний день пригласил на море на пикник – приехал армейский друг, а для негритят гостеприимство, мужская дружба – это святое. И вот Таня вдруг поняла, что отказаться – совершенно невозможно. Это значило показать ему, что они все – нелюди, которым доверять никому нельзя. И она поехала с одной подружкой, Люсей. Люсе Руслан очень нравился. Да и вашей Тане тоже. Говорила себе: нельзя ни в коем случае в него влюбляться, – вот и влюбилась. А этот армейский друг ей сразу не понравился. Рыжий, глаза жестокие, голос неприятный. Еще сразу внутри застучали тревожные молоточки: Руслан с этим рыжим говорят между собой по-негритянски, а мы не понимаем. Приехали на речку, устроились у костра, ели шашлыки, пили вино. Руслан говорил тосты, за которые каждый раз надо было пить обязательно до дна, – за материнскую любовь, за здоровье будущих детей. И уже она чувствовала, что опасность рядом, – но не встанешь и не уйдешь. Сидели, как овечки в ожидании заклания. Люся уже совершенно ничего не соображала, хохотала, кричала ей: «Ну чего ты такая? Танька, расслабься!» Поехали, наконец, обратно – уже поздно, темно. Полегчало, что все кончается. Вдруг сворачивают – надо прямо ехать, а они к морю. Стали уговаривать: «Давайте еще посидим, такой вечер хороший!» Остановились на берегу. Руслан и Люся вдруг ушли в лес, сперва еще слышен был ее хохот, а потом затихли. Ваша Таня осталась с этим рыжим вдвоем. Негритенок полез целоваться, стал снимать с нее футболку. Она его отпихнула. Он снова пристает, шарит везде руками. Она ему: «Нет!» Вдруг рыжий негритенок бьет ее по лицу, кулаком прямо в нос. Ее никто так никогда не бил. Льется кровь, но она не чувствует боли, вообще ничего не чувствует – как парализована. А он ничего дальше не делает, чтобы ее насиловать, не снимает одежду, просто бьет, чтобы она сказала, что да, я тоже хочу. Таня ему: «Нет!» Тогда он ударил ее ногой в живот – она скорчилась и еще в голове мелькнуло: «Как так можно? Весь вечер были как люди, и вдруг меня ногой в живот! Как больно-то, мамочки!» Он снова спрашивает: «Не хочешь?» Она мотает головой. Он как зашипит: «Ты долго будешь издеваться надо мной?» Взял бутылку за горлышко, разбил о камень, подходит и говорит: «Сейчас буду резать тебе лицо». Тут Таня по-настоящему испугалась. Он ее сломал этим страхом. Она вдруг перестала быть человеком, ее больше не было – было только испуганное животное, воющее от боли и от страха, что сейчас будет еще больнее. Это животное сказало: «Да! Хочу!» И он вашу Таню во все дырки. Потом она поползла в ручей отмываться. Тут Руслан с Люсей вернулись – довольные, счастливые. Таня грязная, все лицо в синяках. «Что у вас тут произошло?» Она ответила: «Ничего. Все хорошо».

Ответ: Зачем вы мне это рассказали?

Вопрос: Чтобы вы знали то, что было.

Ответ: Она хотела сделать аборт?

Вопрос: Нет. Она сказала своей маме только то, что была на юге, и забеременела, и теперь хочет родить ребенка. Они стояли на кухне. Мама курила и молчала. Ей нельзя было курить, она уже была больна, но никому об этом не говорила. Потом потушила сигарету под струйкой воды из-под крана и сказала: «Вот и хорошо. Родишь нам малютку, и будем ее любить. Бог не по силам испытаний не дает». Она еще успела понянчиться с внуком. Что с вами?

Ответ: Извините, просто глаза приклеились. Вот смотрел на телефон и вдруг подумал: если Таня сейчас позвонит сюда – ведь бывают же чудеса на свете – и спросит: «Есть новости?» – я знаю, что ей ответить. Я скажу: «Есть. Я люблю тебя еще больше».

Вопрос: Вы с ней хотели ребенка?

Ответ: Конечно. И я, и она. Сначала ничего не получалось – она никак не могла забеременеть, и я боялся, что это из-за меня, что со мной что-то не в порядке, у нее ведь уже был ребенок. А потом она забеременела. Это произошло в тот самый день, когда она прижимала к себе пахучую кофемолку, а я открывал банку сардин. Мы купили в аптеке тест, и она зашла в туалет – мы как раз гуляли по Гоголевскому бульвару. А зима была, снег, и везде были раскатаны ледяные дорожки. Так она разбежалась и ко мне покатила, как девчонка. Хохочет, размахивает руками. Скользит прямо мне в объятия. Ничего не сказала, я и так все понял.

Вопрос: Вы знали, что у нее проблемы с почками?

Ответ: Откуда? Сначала все было хорошо. Помню, мы пошли в консультацию вместе, я обязательно хотел пойти с ней, не знаю почему. Вдруг стал за нее бояться. И мне там все сразу не понравилось. На Таню завели историю болезни, будто беременность – болезнь. И к врачу нужно приходить со своим полотенцем и со своими тапками или надевать на ноги полиэтиленовые пакеты. Один раз по телевизору была передача про роды в море. Показывали, как беременные уезжали к морю и там рожали. Приглашали, дали телефон, куда обращаться. Таня потом вдруг спросила: может, тоже поехать рожать на море? Но это было что-то вроде секты, и женщины потом должны поедать послед, как собаки. Я сказал: не волнуйся, заплачу, сколько надо, и все будет в порядке. Таня простудила почки и должна была лежать, проводила недели в постели, пила много жидкости, распухла, будто у нее двойня. Ей казалось, что она подурнела, и поэтому все прикладывала к глазам испитые пакетики с чаем, верила, что помогает против отеков. Или две дольки огурца. Но все это когда меня не было: боялась, что я так ее увижу – с огуречными глазами.

Вопрос: А сын? Ревновал?

Ответ: Наоборот. Ромка радовался, что у него будет братик или сестренка. Помню, мы лежим вечером втроем и гладим ее живот – я с одной стороны, Ромка с другой. Я говорю: «Расти, сестренка!» А Ромка: «Расти, братик!» Я девочку хотел, а он мальчика. На УЗИ потом сказали, что будет мальчик. Ромка радовался: «Ура! Я выиграл!» Отпечаток с экрана поставили за стекло на книжную полку. Просыпаешься утром за несколько минут до будильника и смотришь – как сквозь помехи из космоса: вот головка, вот ручка. Будто он передает нам привет с какого-то космического корабля, будто уже летит к нам откуда-то с другой планеты, где жил все эти тысячи и миллионы лет, поджидая нас. Потом ее положили на сохранение. Она без книг жить не могла и в больницу взяла с собой несколько штук. Пыталась там читать, но ей не давали бабскими разговорами. Я к ней заезжал каждый день, и мы ходили по больничному коридору, потом я бежал в садик за Ромкой. Она открывает книжку, какую читала, и спрашивает: «Смотри, здесь написано, что человеческое тело вытянуто во времени – и таким образом всюду заполняет собой пространство. Это как?» Пожимаю плечами – откуда мне знать? Раз там так написано, то, может, так оно и есть. Им видней. Спрашиваю: «А ты понимаешь?» Качает головой: «Еще нет. Но когда-нибудь пойму». Я смеюсь: «Так и я когда-нибудь пойму». Там нянька мыла пол и все время ворчала: «Вот так всю жизнь в постоян-

ном страхе и живем – сначала боишься забеременеть, потом рожать, потом до гроба страх за дитя».

Вопрос: Она вернулась домой уже без ребенка?

Ответ: Да. Она перестала чувствовать в себе его движения. Ребенок был уже мертв – в ней.

Вопрос: Вам объяснили, что случилось?

Ответ: Объясняли. Я не очень понял. Я боялся за Таню. Ей было очень тяжело. А главное, я не знал, что ей сказать. Хотел ее утешить, успокоить, но это ведь в таком положении невозможно. Я только говорил все время: «Мы вместе, и это главное. И у нас есть Роман. И у нас еще будет ребенок. Обязательно будет! Вот увидишь!»

Вопрос: Что вы сказали мальчику?

Ответ: А что тут скажешь? Так и сказали, что его братик не родился. Что он умер. Таня водила Ромку по воскресеньям в школу при церкви. Он возвращался и выдавал сен-тенции, вроде: «Говорить, что нет Бога, – это как убеждать детей, что у них нет и никогда не было родителей». А тут пришел и сказал: «Ничего он не умер! Просто он нас ждет где-то». Я боялся за Ромку, что ему трудно будет – что другие мальчишки забьют. Это с мамой он боевой до истерики, а с другими детьми ниже травы, тише воды. Боялся плавать в пруду – что плотнет головастика, что присосутся пиявки. И всех жалел. Один раз зимой в мороз принес домой птицу, подобрал на дороге. Замерзшая, твердая – думал, что отогреет, и та оживет. А фантазия у него! Играет сам с собой, будто два чайника с поднятыми носиками – это два слона разговаривают друг с другом, большой и маленький. В баню с ним пошли, там жара, шум. Он говорит: «Папа, сделай так!» Стоит и закрывает уши ладонями, потом открывает и снова закрывает – получается, будто кто-то чмокает в ушах. Вот стоим с ним и чмокаем ушами. Перед сном укладываю его и читаю что-нибудь. Мы с ним все перечитали, и Робинзона Крузо, и Гулливера, Мюнхгаузена, и Жюль Верна. Он из мыла сам сделал подводную лодку капитана Немо. И у нас с ним такой ритуал был перед сном – загадывать, кто где хотел бы проснуться. На необитаемом острове или еще где. Один раз он загадал, чтобы проснуться на подводной лодке капитана Немо, а там его ждет братик. А чаще я сам быстрее засыпал, чем он. Таня приходит, я сплю, а Ромка сидит в «Лего» играет или книжку смотрит. Я боялся все это потерять. Я боюсь, что с ними может что-то случиться. С ними может произойти все что угодно. Мне страшно за них.

Вопрос: Все будет хорошо.

Ответ: Да?

Вопрос: Поверьте, все обойдется.

Ответ: Вы думаете?

Вопрос: Я знаю.

Ответ: Откуда вы знаете?

Вопрос: Все всегда заканчивается хорошо. Так ведь каждый раз бывает: сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. И уже не верится даже, что все это было. Как дурной сон. Прошло – и нет.

Ответ: А я тут заснул, и мне приснилось, как мы лежим снова в нашей кровати, Ромка юркнул к нам под одеяло, и мы с ним гладим ее живот с двух сторон, и я спрашиваю ее: «Как, разве он там не умер?» А Таня мне отвечает: «Да нет же, послушай!» И я глажу ей живот и хочу приложить ухо, послушать, и вдруг мне становится так страшно, что все это сон, и там у нее внутри – смерть, и вот сейчас я проснусь – в застуженной камере, в наручниках, и меня, кое-как зашитого, отправят обратно в барак.

Вопрос: Ну что вы! Ничего страшного, все хорошо, все позади! Ничего больше не нужно бояться! Все, что было плохое, – все это просто кошмарный сон, и вы сейчас проснетесь там, где загадывали с сыном проснуться. Хотели же вы с ним проснуться в мыльной

кают-компаний! И там будет ваша Таня, и Ромка. И вас там уже заждался его братик. И ваша мама. И сестра. И все, кто вам близок и дорог. И все станет вдруг так просто и понятно про человеческое тело, которое вытянуто во времени и таким образом всюду заполняет пространство своей любовью. А для Ромки там какое раздолье – целая подводная лодка! Можно все трогать, крутить ручки, колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, рычажки. И сам капитан Немо наденет ему на голову свою пропотевшую, засаленную, еще горячую изнутри фуражку.

Утром войско двинулось на Вавилон. Уже наступил час, когда на базаре становится многолюдно, и стоянка, где Кир предполагал сделать привал, была недалеко, когда показался Патесий, знатный перс из приближенных Кира, несущийся во весь опор на взмыленном коне и кричащий всем встречным на варварском и греческом языках, что приближается царь с большим войском, готовый вступить в бой. Выслушав его, Кир сказал: «Воины, наше отцовское царство так велико, что оно простирается на юг до тех мест, где люди не могут жить из-за жары, а на север – до областей, в которых нельзя обитать из-за холода. В случае нашей победы я обязан дать моим друзьям власть над этими странами. И я боюсь не того, чтобы в случае успеха у меня не хватило даров для всех моих друзей, но того, что у меня не окажется достаточного количества друзей, которых я мог бы одарить».

Кир, сойдя с колесницы, надел панцирь, сел на коня, взял в руки копье и приказал всем полностью вооружиться и занять свое место в строю. Сам Кир пошел в битву с непокрытой головой.

Уже наступил полдень, а неприятель еще не показывался. Только после полудня появился столб пыли, похожий на светлое облако, а несколько времени спустя на равнине, на далеком расстоянии, выросла как бы черная туча. Когда неприятель приблизился, засверкали медные части и наконечники копий и можно было разглядеть полки. Впереди расположены были серпоносные колесницы. Серпы у них насажены вкось на оси колес и повернуты под колесницами лезвием к земле, для того чтобы разрезать на части все встречающееся на пути. Варварское войско приближалось размеренным шагом, а эллинское еще стояло на месте и строилось, вбирая в себя подходившие части. Кир разъезжал перед строем своих солдат и смотрел в ту и другую сторону, наблюдая врагов и друзей. Клеарх подскакал к нему и убеждал оставаться позади бойцов и не подвергаться опасности. «Что ты говоришь, Клеарх! – воскликнул Кир. – Я ищу царства, а ты советуешь мне показать себя недостойным быть царем!» Войско врага приближалось спокойно и медленно, без крика, в полном безмолвии.

Любезный Навуходонозавр!

Нынче у нас почтовая ночь, и вот спешу набросать Вам несколько слов.

Не знаю, как у Вас, а у нас здесь слова образуются по ночам, сгущаясь из словесной туманности. Словесная пыль каким-то образом превращается – нам объясняли когда-то в школе, но я все позабыл, то ли не без участия холодильника Либиха, то ли под воздействием климатических колебаний – в семечки на языке.

А может, просто закон бессонницы.

Кстати, получили ли Вы мое предыдущее послание, в котором я рассказывал об охоте на вальдшнепов, свадьбе без жениха, разорванной записке на рояле, покрытом лунным лаком, войне, бале, дуэли и университетском швейцаре, артистически игравшем в шашки пробками от химической посуды? Право, устаешь пенять на почту! Отправляешь нарочным, просишь их поскорее, щекочешь кончиком пальца протянутую дылдой-почтмейстером великанскую ладонь, мол, голубчик, по старой дружбе, за нами не постоит, а он, вместо того чтобы запрячь в собачью упряжку своих откормленных лаек, посылает каких-то доходяг. А после тундры тайга. Там только по льду замерзшей Тунгуски. Да и то если будет оказия.

Что ж удивительного, что Вы получите это мое послание с новостями, может, лишь через много лет. У нас сейчас полпервого. И мое полпервого перенесется к Вам. Впрочем, я уже, кажется, сообщал, что в нашем безграничье что-то не так со временем.

Мое же полпервого заставлено коробками из-под бананов. Остались неразобранными еще после переезда. Стоят у стены. Тогда оставил просто временно, на первые дни, чтобы потом распаковать, а вот первые дни растянулись, вобрали в себя времена года, круговорот снега в природе и зудение комара.

Очень удобная вещь для переезда. В Denner'е тогда взял несколько отличных коробок. А тут хотел что-то найти – и не помню, где это могло бы быть, так что пришлось все разбирать. Всякий хлам, старые записные книжки, газеты, журналы, черновики, вырезки, выписки, допесочный Египет, выпавшая пломба, дебют четырех коней на мосту, вмятинки на паркете от острых каблучков.

А еще нашел бумаги из того самого допесочного Египта, когда толмач был молодым учителем орочей и тунгусов, получал копейки и бегал после школы еще по домашним урокам. У молодого учителя тогда только что вышел в одном журнале первый рассказ, от чего должен был перевернуться мир, но, вопреки ожиданиям, не перевернулся. Его, к счастью, ничто не перевернет. Зато, в утешение, в один зимний дождливый день – уже ползимы прошло, а морозов и снега все не было, и выброшенные новогодние елки валялись во дворе на пожухлой траве – молодому учителю позвонили из одного издательства, которые тогда пооткрывались в каждом подвале, и предложили написать для биографической серии книгу об одной известной когда-то певице, исполнительнице романсов.

Когда он услышал ее имя, сразу вспомнил подвал в Староконюшенном, допотопный электрический проигрыватель с переломанной рукой, которую его отец, бывший подводник, перебинтовал синей изолентой. Будущий молодой учитель слушал на нем без конца свои пластинки про Чипполино и дядю Степу, а его отец – свои старые, черные, тяжелые, и тогда нужно было переключать с 33 оборотов на 78. Проказник и неслух, разумеется, обожал слушать все наоборот, и тогда синьор Помидор чирикал что-то по-лилипутски, а на пластинках отца женские голоса становились похожими на голос дяди Вити, соседа по двору, у которого на войне разворотило челюсть, и он ходил – так говорили – с серебряной трубкой, вставленной в горло.

У бывшего подводника была одна пластинка этой самой певицы. Когда приходил пьяным, он всегда ставил именно ее. Мама шла к соседям или на кухню, а отец захлопывал за ней дверь, брал будущего молодого учителя в охапку, садился на диван, на котором они все втроем спали – женщина укладывала сына, хотя у того была своя кровать, между собой и мужчиной, наверно вот так, ребенком загораживалась, – и говорил про какую-то Зосю, которая подарила ему эту пластинку, когда их подводная лодка стояла после войны на базе в Либаве. Про Зосю было неинтересно, и будущий молодой учитель просил рассказать про арбузы. И тогда отец вспоминал, как с мальчишками воровал арбузы и дыни с железной дороги. Будущий учитель представлял себе все, как в кино: вот состав замедляет ход, отец-герой, разогнавшись, запрыгивает на подножку арбузного вагона, подбирается, распластавшись на трясуей стене, к заветным окошкам под самой крышей и выбрасывает на ходу из полного вагона арбузы или дыни. Иногда арбузы лопаются, взрываются, как бомбы. Потом он ловко прыгает ровно посередине между двумя столбами и кувыркается под откос. Будущий молодой учитель очень гордился своим отцом и теми арбузами.

И даже сейчас, когда я все это пишу, вдруг ужасно захотелось арбуза, будто это вовсе не отец, а я сам подкрадываюсь, распластавшись по стене грохочущего вагона, к открытому окошку, там темно, и я уже знаю, что в вагоне не арбузы, потому что на меня пахло из жаркой, душной темноты дынной коркой.

И вот о той певице с пластинки, певшей голосом дяди Вити с серебряной трубкой в горле, молодому учителю предложили написать. Оказалось, что она до сих пор жива, хотя все думали, что давно умерла. Издательству передали ее воспоминания и дневники. С ней нужно было встретиться и записать рассказы на пленку.

Бедный молодой учитель, разумеется, сразу согласился, тем более что ему пообещали аванс – баснословные триста долларов. В школе он бы столько не заработал и за год. Зачем-то помню, что за окном, во дворе, когда говорил по телефону, две девочки играли в Новый год, воткнув полуосыпавшуюся елку с обрывками серебряной мишуры в кучу грязи рядом с помойкой, и дарили друг другу подарки, протягивая в пустых руках что-то никому, кроме них, не видимое.

В назначенный день, когда нужно было прийти за договором, ударил мороз – все было выстужено, остекленело, и улица, и трамвай. Люди поросли сединой у висков. Усы и бороды у всех засеребрились, и каждый нес перед собой дыхание, как воздушную сахарную вату на палочке. Издалека было видно, как у входа в метро стояло огромное облако пара, плотное. Над дверями, на названии станции, на фронтоне и на колоннах вырос мохнатый лед на полметра.

В подвале, где было издательство, дуло изо всех окон, покрытых толстым слоем инея, в комнатах сидели в шубах. Редактор, которая вела эту книгу, стояла на стуле и заклеивала щели между рамами широким скотчем. Сзади на юбке пристала белая нитка, и молодой учитель поймал себя на том, что вдруг захотелось осторожно снять эту нитку и намотать на палец: Алексей, Борис, Виктор... Дама куталась в шаль, кашляла и сморкалась в прижатый к носу платок и велела не смотреть на нее.

– Я сейчас страшная. Смотрите вот лучше на Синай!

На стенном календаре были какие-то выжженные солнцем горы. У редакционной дамы действительно гноились глаза, и молодой учитель, смутившись, послушно смотрел на Синай. Там был знойный день, воздух раскалился, дрожал, струился.

Пока будущий автор биографии заполнял договор, дама, шмыгая без конца носом, жаловалась, как сложно работать со стариками, и рассказывала о каком-то кинорежиссере, о котором тоже писали книгу из этой серии и который все время забывал, что его сын давно умер, и то и дело спрашивал: «А где Вася?» Ему каждый раз отвечали, что ушел в магазин. Старик, удовлетворенный таким ответом, продолжал рассказывать про свою молодость дальше, со всеми подробностями.

Сами дневники домой не дали, молодой учитель мог взять только ксерокопии, но просмотрел эти тетрадки в тот же день, устроившись на ледяном кожаном диване в застуженном коридоре редакции рядом с каким-то чахлым растением в кадке, которое не замерзло, наверно, только потому, что его окуривали и кадку использовали как пепельницу. Пальцы окоченели, и пришлось надеть перчатки, листать в них было неудобно, страницы скользили и не хотели переворачиваться, пару раз драгоценные тетради даже выпрыгивали из рук на замызганный пол, но никого, к счастью, тогда в коридоре не было.

Дневники в разноцветных допотопных переплетах пахли старыми окурками из кадки, и сквозь эту затхлую вонь пробивался запах слежавшегося в исписанных страницах времени. И еще чуть пахло чем-то женским, вернее, старушечьим, какими-то старыми духами. Чернила выцвели, а иногда она писала карандашом. Одни записи были с датами, другие без. Почерк был скорее неряшливый, все время разный: то страницы шли как вышитые гладью, то каракуль. Некоторые места были просто замазаны густой черной краской. Иногда шли белые листы – будто хотела заполнить их позже. Потом снова беспорядочные записи. Некоторые страницы были вырваны. Судя по нумерации тетрадей, три из них вовсе исчезли.

Окоченев, молодой учитель вернулся в кабинет редактора и снова стал смотреть на залитый солнцем, изнывающий от жары Синай. Ему подумалось: как правильно, что именно

там разверзлось синее от марева небо и народу-богоносцу были даны скрижали, а не в парном облаке у входа московского метро, заросшего льдом. А редакторша, сморкаясь, давала указания, что надо поскорее идти встречаться с героиней, потому что ей уже далеко за девяносто, и она тоже уже все путает, отключается, но у нее еще бывают просветы, и вот в такой просвет нужно попасть и ее разговорить. Воспоминания она начала писать уже давно, но все никак не могла выйти из детства, а потом и вовсе забросила.

– Это будет вам подспорьем, – сказала дама, – но особенно не надейтесь, я пыталась это читать – все не то. Главное, постарайтесь ее разговорить. Вы хоть кивайте головой.

Молодой учитель послушно закивал головой, небрежно засовывая стодолларовые купюры, которых никогда до этого и в руках не держал, в карман.

– Как бы вам объяснить, чего бы мне хотелось, – продолжала она. – Суть книги – это как бы восстание из гроба: вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы ей говорите: иди вон! Понимаете?

Он закивал:

– Да-да, конечно, чего же здесь не понять.

Потом в метро, когда ехал домой, все нащупывал, на месте ли три заветные бумажки. Казалось, что все видят, что он везет, и было страшно, что деньги вытащат в потной подземной толчее.

Пачку ксерокопий ее дневников и воспоминаний автор будущей биографии просмотрел в ту же ночь. Старуха действительно писала очень подробно о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без конца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было бесполезно.

На следующий день молодой учитель на перемене позвонил по полученному в редакции телефону. Ему сказали, что Белла Дмитриевна сейчас плохо себя чувствует и встретиться для интервью не может. Попросили перезвонить на следующей неделе. На следующей неделе повторилось то же самое. Наконец договорились о встрече, и он отправился в Трехпрудный переулок.

Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми «жигулями» и заляпанными московской грязью иномарками, вылез из-под снега весь собравшийся за зиму мусор. Код в подъезде был сломан, лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице, заваленной обломками кирпичей от затянувшегося ремонта, газетами и селедочными головами. Стоял московский подъездный дух – пахло мочой, кошками и сырой побелкой. Звонок не работал. Молодой учитель постучал. Долго вглядывались в глазок, потом дверь чуть приоткрылась. Ему сказали, что ночью старуху увезли в больницу. В темноте коридора он мог разглядеть только руки, обсыпанные мукой. В тот момент, когда молодой учитель разговаривал с белеющими мучными руками, с которых сыпалась пыльца, он понял, что из этой книги о певице ничего не выйдет.

Потом он звонил еще несколько раз. Его героиня вернулась из больницы, но встречаться уже не имело смысла – просветов больше не было. Он просил хотя бы об одной встрече – попробовать, вдруг что-то получится.

– Да она никого не узнаёт, – ответили ему. – Поимейте совесть, молодой человек! Оставьте старого, больного человека в покое, нельзя же так!

Время шло. Молодой учитель узнал, что приостановилась, не начавшись, та биографическая серия, для которой он должен был написать книгу. Затем лопнул один большой банк, и вместе с ним исчезло и издательство. Потом было много всего, и пачка ненужных ксерокопий, завернутая в пакет из булочной, валялась несколько лет где-то среди других бумаг и книг.

Когда Белла Дмитриевна умерла, он уже толмачествовал далеко. Узнал о ее смерти случайно, когда прилетел в Москву. Уже прошли торжественные похороны, статьи в газе-

тах, передачи по телевидению. И так получилось, что толмач шел по своим делам и оказался как раз на Трехпрудном. Двор и дом было трудно узнать, все вылизано, у свежепомытых лимузинов, сверкающих на июньском солнце, скучали коротко стриженные крепыши в дорогих костюмах. Две молодые мамыши, оставив коляски, обламывали ветки распускающейся сирени. Толмач постоял рядом с пахучим треском. Потом зачем-то решил зайти. Код был сломан. В подъезде пахло краской после только что оконченного ремонта, и к этому новому запаху уже примешивался старый – кошек, мочи и сырой побелки.

Позвонил в дверь. Открыла та же женщина, с которой разговаривал молодой учитель несколько лет назад. Только теперь в ее мучнистых руках был мобильник. Похоже, квартиру уже кто-то купил, и в коридоре толпились вещи, собранные для переезда. Незванный гость стал объяснять, что когда-то говорил с ней по телефону, поскольку собирался писать о Белле Дмитриевне, и даже был здесь. Его прервали:

– Что вы хотите?

Он и сам толком не знал, чего хотел и зачем пришел. Не объяснять же ей про старый, перевязанный изолентой проигрыватель в Староконюшенном, про синьора Помидора, про голос дяди Вити, про запах дынной корки. Зачем-то спросил:

– А вы были при ее смерти? Как она умерла?

Женщина усмехнулась:

– Вам для печати или как на самом деле?

Пожал плечами:

– Как на самом деле.

– Тогда вот: не могла покойница последнее время никак поспать – что вы хотите, в сто лет! И тут я ночью слышу как гром. Прибегаю, лампа на тумбочке стояла – валяется на полу разбитая, а Белла Дмитриевна с кровати упала – вся, прости Господи, обосралась. И уже Богу душу отдала. Царство ей небесное.

По кухне бегают поросята со смешным хвостиком. Я с ним играю, мы подружались. Он так заразительно хрюкает. Мы хрюкаем на пару, визжим от пороссячьего восторга. Потом его же с таким же смешным и живым хвостиком вижу в столовой на блюде. Я рыдаю и хочу убежать из-за стола. Помню, особенно было страшно, что мне на тарелку хотели положить, чтобы я успокоилась, отрезанный хвостик. Наверно, это было первое в жизни ощущение смерти.

Сколько мне было? Три? Четыре? Не мне, конечно, старой, бестолковой, поглупевшей, а той далекой девочке.

Пятый, поздний, уже неожиданный ребенок.

Помню, как брат Саша, самый старший из всех детей, болел скарлатиной. Его изолировали от нас, и я говорю с ним через закрытую дверь. Брат уверяет, что у него сходит кожа, я ни за что не хочу в это поверить, и он просовывает ее кусочки в замочную скважину.

Сестра Аня, моя любимая Нюся, изучает арифметику, делает примеры, уткнувшись в учебник, я пристаю к ней, она сажает меня на колени, и я замираю, видя, как перо выводит удивительные непонятные значки. Нюся рассказывает мне про сложение и вычитание. На Пасху мы идем на кладбище, и вдруг я обнаруживаю, что над умершими людьми стоят плюсы.

Мама приводит младших, Машу, Катю и меня, во французскую кондитерскую на Большом проспекте. Мне нравится название тающих во рту пирожков – пtifуры. Зельтерскую воду мы называем кипяточком – за то, что пузырится и щиплет язык.

Когда мы ссоримся и деремся, мама заставляет нас мириться до того, как ложимся спать, – чтобы зло не оставалось на завтра.

Мамины духи – «Muguet de mai».

За столом нельзя вертеться и ерзать, руки ни в коем случае не на коленях, а на столе, и не просто, а так, чтобы оба указательных пальца касались края тарелки. Почему-то считается, что так держит руки государь император.

Мама говорит, что каждый человек должен сажать деревья и копать колодцы – каждому ребенку в нашем палисадничке отводят полоску грядки, и мы сажаем там что-то и поливаем. Я прибегаю каждый день посмотреть, как пробиваются к свету мои горошинки, как поднимаются мои зеленые росточки. Потом как-то ночью к нам залезают мальчишки из Темерника и все вытаптывают. Мама убеждает нас, что нужно сажать снова, но я не хочу.

Утром мама в халате с широкими рукавами – приятно залезть в рукав головой. После завтрака взрослые пьют кофе, и она дает детям в ложке кусочек сахара, обмакнув его в черный кофе из своей чашки. А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня подлизой. Я воспринимала это буквально, потому и говорю: лизычок, а не язычок.

Я люблю, когда она пишет письма – мне разрешается приставлять в конце строчек восклицательные знаки.

Мама играет нам из Чайковского – «Детский альбом». Особенно трогают меня «Похороны куклы». Помню, что я беру мою Лизу, которая умела закрывать и открывать глаза, и укладываю ее в коробку. Я плачу, оттого что она умерла. Потом мне становится скучно без нее. Хочу открыть коробку, но сама себя останавливаю: нет, нельзя, ведь Лиза умерла, ее больше нет. И тут все во мне восстает против этой невозможности: почему нельзя? Вот же она, моя любимая Лиза, вот ее роскошные белокурые пряди, вот ее розовые щечки, вот ее шелковое платьице, вот она открывает глаза и выходит из коробки как ни в чем не бывало! Не бойся, Лиза! Никакой смерти нет!

Придет день, и я дам одной девочке поиграть моей Лизой, а когда мы поссоримся, она в порыве злобы выдавит кукле глаза. В пустой фарфоровой голове с черными провалами глазниц будут звонко перекатываться стеклянные шарики.

Кухня – вотчина няни, которая в то же время исполняет обязанности кухарки. Там же няня принимает своих ухажеров. По вечерам появляются полицейские, матросы с гармошками. Я еще не знаю слова «эксплуатация», но это именно то, что делает няня с ними, – то они выбивают ковры во дворе, то натирают полы. Для полов она все же предпочитает ухажеров – профессиональных полотеров. Те появляются раз в месяц, она флиртует с ними на кухне и усердно угощает. Для мамы это день кошмара, она уходит из дома, а мне, наоборот, невероятно нравится и то, что в доме все переворачивается вверх ногами, и запах мастики.

Утром в день рождения няня уже ждет у дверей, когда проснешься, чтобы сразу что-то подарить – только откроешь глаза.

На Сороки, 9 марта, она печет жаворонков с распростертыми крыльями, как бы летящих, с глазами-изюминами. Мы съедаем не все, головы оставляем для родителей – только выковыриваем глаза и сосем сладкий изюм. Кричим: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». Каждый день у нас на столе свежий душистый хлеб из булочной, но в ту минуту мне кажется, что действительно у нас после долгой зимы не осталось ни крошки и только жаворонки смогут принести нам спасение. Прежде чем посадить их в печь, няня всегда закладывает несколько монетку или колечко. Заветный жаворонок всегда достается мне – очевидно, няня, запомнив, в какой именно она засунула копеечку, подсовывает его мне. Я убеждена, что этот праздник связан каким-то образом с сорокой-белобокой, и очень удивляюсь, узнав, что таким образом мы отмечаем день сорока мучеников Севастийских. Помню, как в церкви няня тычет пальцем в какую-то темную икону, на которой я ничего не могу разобрать, только головы святых с нимбами сливаются в гроздь винограда, и рассказывает шепотом на ухо, как несчастных вывели раздетых на лед и заморозили.

Мне нравится запах смолки в лампадке и ладана в церкви, особенно зимой, когда снаружи метель и морозно. Няня объясняет, что смолки зажигают, чтобы Богу было приятно нюхать. Я уверена, что в церкви живет Бог, и няня поддерживает меня – ведь зимой на улице холодно, у каждого есть свой дом, и вот церковь – это дом, где Он греется.

С Рождества до Крещения на всех дверях и предметах она ставит мелом белый крест от нечисти. Потом крещеной водой с реки всё освящают, и уже можно не бояться всякой чертовщины – ведь после Рождества Бог на радостях, что у него родился Сын, отмыкает все двери и выпускает чертей погулять.

В мире няни черти или ангелы так же реальны, как чулки или калоши. И я вместе с ней не сомневаюсь, что каждому человеку при рождении приставляются черт и ангел, оба не оставляют тебя ни на минуту, ангел стоит по правую сторону, а бес слева – поэтому нельзя плевать по правую сторону и ложиться спать надо на правый бок, чтобы держать лицо обращенным к своему ангелу и не увидеть во сне что-то плохое. Ангел записывает все твои добрые дела, а дьявол злые, и, когда человек умрет, ангел будет спорить с дьяволом о его грешной душе. Зазвонит в левом ухе – это искусьитель летал к сатане сдавать грехи человека, сделанные за день, и вот теперь прилетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазнам. Во время грозы бес, преследуемый стрелами молнии, прячется за человека. Поражая беса, Илья Пророк может убить и невинного. Поэтому во время грозы надо креститься.

Перед сном я представляю себе, как выглядит мой Ангел-Хранитель, какие у него белоснежные крылья, мягкие и душистые, как мамина пуховка, которой она пудрится.

Няня ведет меня куда-то. По дороге мы видим, как мальчишки бросают в кусты камни. Няня сокрушается и ворчит, что так нельзя – в воздухе везде ангелы и нечаянно можно попасть. В кустах, мимо которых мы проходим, что-то шевелится. Мальчишки с камнями в руках ждут, когда мы уйдем. Я вижу в кустах птицу, голубя с перебитым крылом. Мы забираем его с собой. Он живет до вечера у нас на кухне, а на следующий день исчезает. Няня говорит мне, что он выздоровел и улетел. Я ей не верю, но молчу. А перед сном представляю себе, что, если мой Ангел-Хранитель окажется с перебитым крылом, я его вылечу.

Где-то под полом живет домовый, невидимый жилец, сторож всех живущих. Видеть домового нельзя, это не в силах человека, но можно его услышать и даже потрогать, вернее, почувствовать его касание: он говорит, будто листьями шевелит, и гладит ночью спящих своею мягкою лапой.

Няня учит меня молиться, у нее в углу много икон, но моя любимая – икона Божьей Матери Троеручицы. Я люблю, когда няня рассказывает мне про нее. Когда Ирод хотел погубить маленького Христа, Богородица бежала с ним в Египет, и по дороге один раз за ней погнались разбойники. Она с Младенцем на руках бежала, бежала, и вдруг перед ней река. Бросилась в воду, чтобы переплыть на другой берег и спастись от погони. Но с ребенком на руках как плыть? Грести одной рукой как? Вот и взмолилась Богородица к своему сыну: сын мой родненький, дай мне третью руку, а то плыть мне не вмоготу. Младенец услышал молитву матери – и выросла у нее третья рука. Тогда уже плыть стало легко – и вылезла на другом берегу, спаслась.

Я боюсь Страшного суда и даже знаю, что он будет перед Масленицей – неделя о Страшном суде. За окном вырастает огненно-красный закат в морозный вечер, и я решаю, что уже началось, – бегу на кухню и отдаю няне карамельки и пряники, какие припрятала.

Против порезов для остановки кровотечения лучшим средством у нее считается паутина. Однажды я беру без спросу папин перочинный ножик – и вот уже из пальца брызжет кровь. Няня бежит в сарай собирать по углам паутину, закрывает ею порез и перевязывает тряпками. Для папы все это дикость, и он, узнав, в чем дело, зло кричит на мою спасительницу. Он хочет обработать рану йодом, я не даюсь и рыдаю до тех пор, пока он не просит

прощения у няни. Та сидит насупившись, потом, прослезившись, крестит его, и примирение наступает, но ненадолго.

Вернувшись на Пасху из церкви, папа возмущается, что все причащаются с одной ложки – ведь это прямой путь заболеть! Няня возражает: дитя крещеное!

Помню, как он рассказывал, что в детстве занимался на флейте и перестал, не смог больше, после того, как учитель, показывая, играл на инструменте и потом папа должен был брать в рот мундштук после него.

Водосвятие. Няня уверена, что крещеная вода целебная и что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее. Бабы, рабочие, старухи, старики лезут к проруби, давя друг друга. Тут же кому-то промывают больные глаза. Какую-то женщина льет воду со льдом в рот больному ребенку. Я боюсь давки, обезумевшей толпы, начинаю реветь. Раскрасневшаяся, растрепанная няня подхватывает меня на руки и заставляет сделать глоток прямо из бутылки. Сводит скулы. Возвращаемся домой. Няня отпивает несколько глотков и кропит весь дом – уверена, что это охранит нас от беды и сглазу. Она рассказывает мне перед сном, что в ночь перед крещением в воде купается сам Христос, поэтому вода колышется. Если прийти в полночь на реку и ждать у проруби, придет волна – это Христос погрузился в воду. Папа, который, оказывается, стоит в дверях и слушает, начинает смеяться. Спрашивает: как может быть целебной вода, в которой купают шелудивого поросенка?

Вспоминаю папу, и во рту сразу лимонный вкус – он сам всегда пил и заставлял детей пить свежевыжатый сок лимона. Вот за обедом в залитой солнцем столовой мы подходим к нему по очереди и получаем по рюмочке. От граней отскакивают солнечные лучи и прыгают по всей комнате, стенам и потолку.

Я знаю, что я – папина любимица. Иногда он берет меня с собой без сестер. В гостях у какого-то знакомого папы – лодка на колесах, но с настоящими веслами. Я плаваю на ней по широкому коридорам.

Папа – известный в городе специалист по кожным болезням, работает в городской больнице, но часто принимает и на дому, особенно лиц из общества, которые избегают излишней публичности в таких деликатных делах. Однажды я, оставленная без присмотра, начинаю копаться в его шкафу в поисках книг с картинками, и вскоре меня обнаруживают сидящей на паркете и рассматривающей цветные изображения мужских половых органов, богато украшенных всевозможными страшными язвами. Потом я долгое время с отвращением гляжу на проходящих мимо мужчин – кажется, что у всех там такие язвы. С еще большим ужасом, почти с отчаянием, смотрю после этого на папу и на брата Сашу. Все не верится, что и у них тоже между ног растет какая-то страшная опухоль.

С того случая папа всегда держит наготове какие-нибудь невинные альбомы. Он выписывает все книги, выпускаемые в Москве Кнебелем, и, когда я впервые попаду в Третьяковку, меня охватит ощущение, что вернулась в свое детство.

Папа интересуется историей, выписывает специальные журналы и один раз летом вывозит детей на раскопки древнегреческого города. Древняя Греция, оказывается, совсем рядом – город Танаис, основанный греческими колонистами из Керчи, лежит рядом с Доном, в Елизаветовской станице. Помню только полдневное пекло, какие-то ямы и далекие курганы в степи. Отец рассказывает про философов и виноделов, про хитоны и пеплосы, а я ною, что умираю от жары и хочу пить. Жду, когда же уйдем из этого Танаиса, состоящего из ям и разбросанных камней. Мне не верится ни в каких древних греков. Когда слышу, что город стоял на границе тогдашнего мира, между образованием и дикостью, между светом и тьмой, и был разрушен варварами, я удивляюсь, что его разрушили мальчишки из Темерника, которые вытоптали наши цветы, ведь мама их тоже называла варварами. В мозгу проблескивает детское прозрение: может быть, когда-нибудь про нас тоже будут думать, что мы – древние греки, которые жили среди варваров?

Потом на бричке с таким раскаленным от солнца сиденьем, что я обжигаю себе на чем сижу, мы долго едем к скифскому кургану, в котором ученые нашли золото. Меня укачивает, и кружится голова от палящего солнца. Я хочу увидеть золото, но и тут меня постигает разочарование. Помню только, что какие-то люди протягивают папе странные чаши. Оказываются, обрезанные черепа, из которых они сделали пепельницы. Еще они шутят, что это месть за князя Святослава, из черепа которого печенегі сделали себе чашу для вина. Отец не курит, но такая пепельница потом будет стоять у него на письменном столе.

По ночам я обожаю улизнуть из комнаты и юркнуть в постель в родительской спальне. Это такая игра – мама прячет меня под одеялом, а папа выискивает и выставляет за дверь, говоря о каких-то мистериях, на которые детей не пускают. Я все путаю и говорю: министериях. Они смеются, мама качает головой и уносит укладывать меня в детскую.

Потом, через много лет, я узнала, что у папы к тому времени уже была другая семья.

В церковь он ходил редко, а на кладбище – почти никогда. Его бесило, что люди идут поздравлять покойников с Пасхой, христосуются с крестом, кормят умерших зарытыми в землю яйцами, оставляют на могиле блины, льют на землю водку. Он восхищался немцами, придумавшими крематорий. В «Ниве» он прочитал и показывал всем статью, в которой рассказывалось об устройстве печей, и вздыхал в шутку: «Вот бы дожить до ростовского крематория!»

При этом, мне кажется, он был глубоко верующим человеком, не знаю, как у него все это уживалось. Однажды я, уже научившись азбуке, бойко читала все подряд вслух: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет у Сарры сын – а обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра рассмеялась – и сказал Господь Аврааму: Есть ли что трудное для Господа?» Мне тоже стало смешно – как Сарре. Я прочитала это место отцу. Он сказал: «Не понимаю, что здесь смешного».

Моих дедушек и бабушек я не знаю – они умерли еще до моего рождения.

Каждую весну мы ходим на ярмарку в Нахичевань. На Георгиевской, где армянская церковь Святого Георга, на пустыре между Нахичеванью и Ростовом открывается огромная ярмарка и длится неделю. Помню качели и карусели, обвешанные и разрисованные какими-то фантастическими животными, кружившимися под орган. Балаган, у входа зазывают народ актеры и клоуны. Покупаем халву и апельсины, квас и всякие сладости.

Через много лет я узнаю, что по приказу Екатерины армян и греков выселили из Крыма и бросили на произвол судьбы в диких степях. Погибли тысячи, а на памятнике императрице в Нахичевани стояло: от благодарных армян. Русские дети, поймав божью коровку, пели: «Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого», – а армяне: «Божья коровка, покажи дорогу в Крым». Но это все будет потом, а сейчас на ярмарке я ем косхалву – если ее откусить, то оставшийся в руке кусочек сразу от зубов не отлипнет, а будет тянуться, пока его конец не станет похожим на слоновий хобот.

Во время крестного хода нам встречается старуха с мальчиком. Мы с няней идем по улице и поем о Христе. Я вижу, как старуха поспешно накрывает его лицо платком, чтобы он нас не видел. Няня злобно ворчит: «Вишь, чтобы нами не испачкаться!..» Так я впервые узнаю о евреях.

Няня рассказывает, как евреи на Судный день устраивают жертвоприношение – мужчины вертят над головой связанного петуха, женщины – курицу и просят Бога обрушить на птицу наказания за грехи молящихся. «Ишь ты, – качает головой няня, – это петух с курицами Христа распяли!» Еще я узнаю про обрезание и что в момент обрезания кровь у мальчика высасывает какой-то моголь. Мне становится страшно. И непонятно, что такое отрывают бедным мальчикам!

Мест, куда я не хочу ходить, все больше. На базаре однажды при мне ловят воровку и начинают избивать. Я с мамой и Нюсей. Мама поскорее уводит нас в сторону, чтобы не

смотрели. Через какое-то время мы возвращаемся докупить то, что не успели. Я вижу, как дворник засыпает песком кровь.

Еще я не люблю базар из-за гицелей – живодеров, которые охотятся на бродячих собак. Гицели подбрасывают отравленные стрихнином пилули. Несколько раз мы видим, как мучается, умирая, собака. Но количество бездомных дворняг не уменьшается – на освободившуюся территорию трусят, язык на сторону, хвост баранкой, собаки из Нахичевани. Травят собак там – туда устремляются ростовские.

Мне шесть лет. Я узнаю слова: «забастовка», «революция», «погром».

Нюся и Маша, которые уже ходят в гимназию, прибегают утром обратно и рассказывают, как среди урока на улице слышались крики и стрельба. Кто-то выстрелил в окно большого зала, где висят портреты государя и всей царской семьи, хорошо видные с улицы. Уроки теперь часто отменяются – из-за забастовки преподаватели не могут явиться вовремя.

В городе беспорядки. У всех тревожные лица. Никто ничего мне не хочет объяснить. Я слышу, что евреи стреляли в крестный ход и убили мальчика, который нес впереди икону. Мне ужасно жалко мальчика, и я плачу безутешно.

Горит Новый базар. Над городом поднимается столб черного дыма, ровный от безветрия, как чей-то гигантский сапог.

Слово «погром» я слышу постоянно. Няня взволнованно шепчется с кем-то: белый крест на воротах – значит, надо громить или, наоборот, не надо громить? Выставляет в окна иконы и кресты, сама выходит с иконой за ворота. Меня под присмотром Кати и Маши держат в детской. Ищут Сашу, но он убежал в город, все за него переживают, мама глотает капли. Папа все время в больнице. Нюся как ни в чем не бывало садится за фортепьяно, она хочет учиться в консерватории, стать знаменитой пианисткой. На нее набрасываются, чтобы она немедленно прекратила. Она кричит: «Я же не могу пропустить урок из-за каких-то мерзавцев!»

Мама приводит к нам в детскую незнакомую черную девочку. Ее зовут Ляля. Запуганная, дрожит. Мама объясняет нам, что Ляля – еврейка. Слово страшное, а девочка никакая не страшная, наоборот, нам ее становится ужасно жалко. Она такая несчастная, ее обманывают, говорят, что не было Христа. Мы, как можем, хотим помочь ей и пытаемся убедить, что Христос был. Она начинает плакать. Мама, заглянув в детскую, думает, что мы обижаем Лялю, и сердится на нас.

Потом Ляля будет моей лучшей подругой. Ее брат, Ефрем Цимбалист, старше на десять лет, скрипач, уедет в Америку, станет известным музыкантом.

Погром продолжается несколько дней. Саша появляется и исчезает снова, несмотря на то что мама умоляет его никуда не ходить – везде по городу идет стрельба. В детской он рассказывает нам то, что видел. Тело того, убитого первым мальчика носили по улицам. Из окна одной аптеки швыряли на улицу бутылки с серной кислотой. Брат говорит, что нашел два отрубленных пальца и что они у него в футляре для очков. Он хочет открыть, чтобы показать, мы с воплем убегаем. Он смеется.

К окну нам велели не подходить, но кто-то из сестер всегда там дежурит, и мы осторожно, прячась, подглядываем: иногда проходят, бегут какие-то люди с охапками вещей. Запомнились мужики в котелках, мастеровые в нахлобученных шляпах всех фасонов – кто-то несет охапку картузов. На оборванном мальчишке – новенькая гимназическая фуражка. Недалеко находился шляпный магазин.

Вечером мы подслушиваем, как папа, вернувшись из больницы, рассказывает, сколько привезли за день трупов – у убитых тяжелые повреждения, убивали дубинами, камнями, лопатами.

Наконец нас выпускают на улицу. Теперь толпы ходят по улицам смотреть на разгромленные магазины. Мы стоим перед сожженной синагогой. Рядом – дом присяжного поверен-

ного Волкенштейна, тоже разгромленный и сгоревший. До меня доходит, что ведь именно здесь я была с папой в гостях и каталась в лодке на колесах. С ужасом думаю про лодку: неужели и она сгорела! Со страхом оглядываюсь – вдруг кто-то из людей вокруг, которые теперь ходят вместе со мной по улицам, как раз и сломали и сожгли ту удивительную, чудесную лодку...

Жизнь продолжается. Однажды я спрашиваю, почему меня называли Изабеллой. Папа отвечает: в честь испанской королевы. Это мне нравится. Играю, что я – испанская королева. Вернее, знаю, что я – это она. Дело не в длинном платье из маминой шали и не в короне, которую себе мастерю из золоченой бумаги, дело в моем тайном знании: я – королева. По утрам долго моюсь, устраивая себе высокие, по локоть, бальные перчатки из мыла.

Сестры зубрят историю, до меня долетает знакомое имя, и я прислушиваюсь. О ужас, вдруг узнаю, что Изабелла Испанская прогнала евреев. Как же так? Это совершенно невозможно! Моя королева – и вдруг погромы! Снова вспоминаю отрезанные пальцы в очешнике – Саша, оказалось, вовсе не врал. Пальцы молча отнял у него папа и утром унес с собой в больницу.

Прибегаю к папе, врываюсь в его кабинет, спрашиваю его с трепетом и надеждой про мою Изабеллу. Только он теперь может меня спасти. Папа не один, у него прием, за столом сидит какой-то мужчина. Боюсь, что папа сейчас разозлится, прогонит меня, но он берет меня на руки и объясняет спокойным голосом, что да, действительно, Изабелла издала такой указ, но нужно думать и о том, что в том же году посланный ею Колумб открыл Америку. И получается, что не пошли она Колумба – кто, когда и где бы открыл еще эту Америку? Может, и по сей день никакой Америки и не было бы. Может, и сейчас нет. Колумб и отсутствие открытой им Америки меня почему-то успокаивают.

Дело вовсе не в гонениях на испанских евреев и не в Колумбе, а в том, что я люблю моего прекрасного, умного, восхитительного папу и знаю, что он любит меня. И все остальное, кроме моей любви и того, что меня любят, не имеет никакого значения.

От того страшного года еще осталось в памяти грохотание пушек. Декабрь. Темный, морозный. Все с ужасом произносят слово «Темерник». По улицам ходить опасно – там Темерник. В школу Сашу и сестер не пускают – из-за Темерника. В городе идет настоящий бой: казачья батарея ведет огонь со старого еврейского кладбища по Темернику. На рассвете страшный взрыв сотрясает весь город. Это снаряд попал в столовую завода «Аксай», где был склад боеприпасов. Погибает много людей – кто-то рассказывает, что видели на деревьях куски тел и одежды.

Когда я на улицах вижу грязно одетых людей с угрюмыми лицами, я знаю – это Темерник. По праздникам они пьяные – тогда становятся еще страшнее. На Масленицу мы с сестрами идем на гулянье, которое превращается в побоище – разные концы Темерника устраивают друг с другом драку. Мы бежим.

Весной в городе появляются цыгане. Саша с друзьями бежит смотреть на табор. Рассказывает, что цыгане надували через трубочку ежа так, что сходила шкура с иголками, и запекали в глине. Мы ему не верим, но взрослые подтверждают, что ежи – известное цыганское лакомство. Я заявляю, что не люблю цыган. Мама мне возражает: но ты же ешь курочку, а они – ежей. Какое-то время после этого разговора я не могу есть мою любимую ножку, которую мне няня дает, обернув косточку салфеткой.

У няни с папой разгорается спор о происхождении цыган. Няня слышала, что цыгане – это евреи, которые вышли вместе с Моисеем из Египта, но что это проклятая, отпавшая ветвь иудеев, которые не послушались пророка и дальше стали поклоняться золотому тельцу, что они у евреев всегда выполняли самую грязную работу – кузнецов, и выковали гвозди, которыми распяли Христа. За это их и наказал Господь – быть им в постоянном изгнании.

Папа возражает, что все это ерунда, что они пришли из Индии, но на самом деле никто ничего толком о них не знает, потому что у них нет письменности. Если не записать то, что на самом деле было, говорит папа, то все исчезнет и ничего не останется, будто ничего и не было. «Вот ты помнишь, что было с тобой год назад?» – спрашивает он меня. Я не помню не только что было год назад, но и что было вчера. «Вот видишь, – продолжает папа, – для этого надо вести дневник и все-все записывать».

Папа дарит нам всем красивые тетрадки для дневника, даже мне, хотя я еще только учусь писать.

Когда я иду с Нюсей в кондитерскую, по дороге, на Никольской, к ней пристаёт цыганка. «На жениха погадаю!» Пыльные цветастые юбки. Хватает черными от грязи руками. Нюся отбивается, смеется: «У меня уже есть жених». Так я впервые узнаю о существовании Коли, будущего Нюсиного мужа. Цыганка вцепилась, не отстает. Нюся сдаётся: «Ладно, погадай на сестру!» У меня в руках только что купленная с лотка сочная груша. Цыганка гадает мне по ладони. Я узнаю, что буду жить долго, что буду королевой, что у меня будет мой рыцарь, будет настоящая любовь до гроба и что у меня родится чудо. Потом она берет у меня надкусанную грушу и быстро оплевывает со всех сторон. Снова протягивает мне, мол, бери, теперь все сбудется. Я прячу руки за спину. Цыганка уходит с моей грушей, пыля юбками.

Теперь перед сном я думаю о рыцаре и о чуде, которое у меня когда-нибудь родится. Я уже знаю, откуда появляются дети, но все-таки не могу себе представить, чтобы ребенок мог вылезти из такой маленькой дырочки.

Саша зачитывается романами о рыцарях. На гимназический маскарад он одевается в оклеенные серебряной бумагой картонные латы и шлем.

Разговор за вечерним чаем о дуэли Пушкина. Мама ненавидит Натали. Я тоже ненавижу ее: ведь Пушкин погиб из-за нее. Проскальзывает фраза, что Пушкин был настоящим рыцарем. Я не могу представить себе его в латах и забрале и смеюсь. Папа говорит: «Чтобы быть рыцарем, совсем необязательно быть одетым в железный панцирь, рыцарь – это состояние души». Я спрашиваю: «Папа, ты – рыцарь?» Он смущенно улыбается. Мама вдруг вскакивает из-за стола и убегает – впервые я вижу ее в таком состоянии, всегда такую спокойную, мягкую. Вскоре мне по секрету сообщают сестры, что у нас родился еще один братик – но не у мамы.

Рисовать я отчего-то не люблю, особенно меня раздражает белый карандаш как невероятная глупость, но зато обожаю играть в театр. Нам покупают игрушечный театр: коробка с фронтоном и поднимающимся занавесом. По бокам нарисованы ложи, в них сидят дети в платьицах по моде чуть ли не пушкинских времен. Внутри устроены декорации – задники и боковые кулисы для пяти действий по сюжету сказки о золотой рыбке. Нравоучительная рыбка нам быстро наскучивает, и мы придумываем свои декорации и действующих лиц. Катя и Маша вырезают и раскрашивают, а я расставляю фигурки, говорю и пою чуть ли не за всех. Для знакомых маленьких детей – я-то уже большая – устраиваем спектакли. За окном зимние морозные сумерки, а здесь волшебный лес, благоухающие цветы. Малыши слушают затаив дыхание.

Летом устраиваем уже не кукольный театр, а самый настоящий. Между березами натягивается веревка, на ней занавес из простыней. Приносим стулья, табуретки, приглашаем знакомых детей, соседей. Перерываем комоды и картонки. В доме исчезают все более-менее пригодные для представления вещи: шляпы, перчатки, зонтики, одеяла.

Но больше всего на свете я люблю петь. Причем не просто петь, а изображать все, о чем пою. Неизменным успехом пользуется «По старой Калужской дороге». Я изображаю, как на сорок девятой версте гулял с кистенем молодец, потом преображаюсь в женский образ и показываю, как

Шла лесом, шла темным бабенка,
Молитву творила она,
В руках эта баба ребенка —
Малютку грудного несла.

Малютку изображает моя кукла. Страсти разгораются, я расхожусь, показывая, как свирепый разбойник хватается бедную женщину за косы и убивает! А уж когда он убивает мою куклу и молния поражает злодея, тут я бросаюсь на землю и допеваю, уже лежа на полу:

С той силой могучей стрелою
Разбойник был этот убит.
Под этой разбитой сосною
Тот самый разбойник лежит!

Маме мои шедевры не нравятся, и я не могу понять — почему? Зато папа всегда приходит в восторг, что бы я ни вытворяла, хватается меня за руки, целует и называет королевой Ростова и всей Нахичевани. Его поцелуй щекотный от бороды. Когда у нас гости, он всегда просит меня что-нибудь исполнить. Публики я совершенно не боюсь. Наоборот, петь для себя самой неинтересно, мне нужны сопереживатели. Все кругом говорят, что я родилась с поставленным от природы голосом, и восхищаются таким сильным грудным звуком, который издают голосовые связки совсем маленькой девочки.

Пересматриваю без конца папины альбомы с репродукциями картин русских художников и вдруг ловлю себя на том, что примеряю изображенных там людей на себя. Как бы становлюсь ими. Вот царевна Софья. Встаю посреди комнаты, как она, распустив волосы по плечам, скрестив руки на груди, гневаюсь на кого-то. Ее заперли в комнате, как меня запирают в детской, если что-то не так сделаю. Только страшно от повешенного стрельца за окном. Спрашиваю про стрельцов Сашу. Брат мне все рассказывает и про восстание, и про окно в Европу. «Понятно?» — «Понятно».

Удивительно, что мне тогда все было понятно. А теперь я старая, прожила жизнь, и сейчас мне ничего не понятно. Получается, что жизнь — это проживание от понимания к непониманию.

Еще Саша меня успокаивает, чтобы я не боялась — стрельцов уже давно нет, головы рубить никогда никому больше не будут — не те времена.

О том, как убили Сашу, я напишу потом.

Ответ: Какая варежка?

Вопрос: История — рука, вы — варежка. Истории меняют вас, как варежки. Поймите, истории — это живые существа.

Ответ: А я?

Вопрос: Вас еще нет. Видите — пустые листы бумаги.

Ответ: Но вот же я, пришел. Сиж. Смотрю в это заснеженное окно. Метель улеглась. Все белым-бело. Вот вижу на стене фотографии — кого-то взяли за жабры. Какая-то странная карта. Никак не могу узнать очертаний материков. Не карта, а ежик — продирается сквозь заросли земляники и черники, ягоды накололись на иголки.

Вопрос: Да нет здесь пока никого.

Ответ: Как нет никого? А от кого тогда падает вот эта тень? Видите, на стене? Вот пятерня. А теперь голова собаки. Гав-гав! А если двумя руками, то смотрите, орел летит. Вот волк зубами щелк.

Вопрос: Не то. Собака. Волк. Все это ненастоящее. Ваша история – жених, вы – невеста. Истории выбирают человека и начинают пространствовать.

Ответ: Понял. Значит, так. Записывайте. Я ничего не хотел жене говорить, но она почувствовала – что-то не так. Старался делать вид, что ничего не произошло, что все в порядке. Потом оказалось, что она обо всем узнала от подруги. Жена стала рассказывать той по телефону, что я стал приходить домой мрачным, огрызаться, а ей в ответ: «Ты что, ничего не знаешь? Твой влип – задолжал, и очень по-крупному, счетчик уже стучит!» Она ни слова мне не сказала, бросилась туда, куда не надо, а там ей объяснили, чтобы не лезла не в свое дело. И вот я держался до последнего, на все ее вопросы отшучивался и даже вроде ее успокоил, что обойдется. А тут сорвался, выпил, чтобы забыться, и меня как прорвало, все ей вывалил: как взял деньги у банка, дал другому банку, на тех наехали чечены, пришлось снова брать деньги, чтобы быстро обернуть, – кинули. Она поняла только, что деньги пропали, проценты каждый день набегают и меня хотят убить. Заревела: «Зачем им тебя убивать? Мертвый ничего не даст!» Я заорал: «Не понимаешь разве?!» Никогда раньше на нее голос не повышал. Продать квартиру, дачу, машину – все ерунда, ничего не хватит, а срок до пятницы.

Вопрос: Не то.

Ответ: Да, я понимаю.

Вопрос: Вы откуда? Из страны, где в постелях стонут и молчат – слова грязные, а чистых нет?

Ответ: Просто хочется быть свободным от судьбы и родин.

Вопрос: Уже пятница?

Ответ: Да.

Вопрос: Кому принадлежал банк: тунгусам или орочам?

Ответ: Орочам.

Вопрос: Что вы знали об этих людях?

Ответ: Немного. Они верят, что первая женщина провалилась в берлогу и родила потом двух детей – медвежонка и мальчика. Два брата подросли, и один убил другого, это было начало мира. Когда тот мальчик вырос, он стал охотником.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Потом огромный лось похитил солнце, и охотник пошел за ним, чтобы вернуть.

Вопрос: Вернул?

Ответ: Нет. То есть да. Они очень далеко ушли. Лось так и бежит по небу, укусив солнце. Но все время возвращается. Мебиус и небо склеил по-своему. А Млечный Путь – это лыжный след охотника. Там, наверху, тоже ходят на лыжах. В небе везде лыжня. Охотник идет по кругу, но то по видимой стороне мебиусного неба, то по невидимой. Есть три мира: верхний, зима и нижний, который и есть самый главный – млыво. Когда верхние люди кроят шкуры зверей на обувь и одежду, то обрезки падают на землю и превращаются в лис, зайцев, белок. Верхние люди держат за нити души людей, верхние деревья – души деревьев, травы – трав. Стоит почему-либо оборваться этой нити – человек начинает болеть и умирает, дерево сохнет, трава вянет. Путь в верхний мир лежит через отверстие в небе, нянгня сангарин – это Полярная звезда. А в нижнем мире, во млыве, жизнь ничем не отличается от земной, такая же зима, только солнце светит, когда на земле ночь, а луна – когда день. Зима переходит во млыво, вернее, это человек, уходя во млыво, уносит зиму с собой. Там живут той же зимней жизнью, охотятся, ловят рыбу, мастерят санки, чинят упряжки, шьют одежду. Женятся, когда оставшийся на земле супруг вступает в брак, рожают детей, болеют и умирают, то есть снова рождаются здесь, проснувшись женщиной или мужчиной в середине зимы. Во млыве все такое же, только не такое. Живой человек там невидим для обитателей, его слова принимают за треск очага.

Вопрос: Значит, там, во млыве, есть и вот эта комната, где на стенах ловят рыб, а на стуле – человеков, где парад скрепок, а карту закололи, где истории остались, а люди выветрились и о подоконник облокотился снежный пейзаж?

Ответ: Не знаю. Мы не орочи. Мы ни во что не верим, кроме зимы.

Вопрос: А у вас какое начало мира?

Ответ: У нас тоже два брата. Но сначала везде была вода. Ничего, кроме воды, и жить было нигде невозможно. Потом пришла зима, вода замерзла, и стала твердь.

Вопрос: А братья?

Ответ: Один был хороший, другой плохой. Один слепил из снега тунгусов, другой – орочей.

Вопрос: А млыво?

Ответ: Млыво – оно и есть млыво.

Вопрос: А вот те двое, которые проснулись в середине зимы, они проснулись кем? Дафнисом и Хлоей?

Ответ: Да. Хлоя – ороч. Дафнис – тунгус.

Вопрос: Козы, овцы, свирель? А теплые зимы – и те ходят парами?

Ответ: Никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть.

Вопрос: Но кто же хочет стать женой пастуха за несколько яблок?

Ответ: Вы что, не знаете – это же как болезнь. Человеку плохо, а вирусам хорошо. У них самый расцвет цивилизации. Так и с любовью. Хлоя есть перестала, по ночам не спала, о стаде своем не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала. Лицо у нее то бледнело, то вспыхивало огнем. Меньше страдает телушка, когда ее овод ужалил. Взгляд застыл, обои зашевелились. Больна я, но что за болезнь, не знаю, страдаю я, но нет на мне раны, тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Закроет глаза, а пальцы ног находят на ощупь стыки между обоями.

Вопрос: Но ведь зима. Мороз достает до застешки на лифчике. И на снежной бабе не хочет никто жениться.

Ответ: Во млыве есть что-то посильнее зимы. Они тысячу лет не встречались. И так стосковались. И вдруг захотели друг друга. И тогда начался ледоход. Ночью весь городок разбудил гром, протяжный, раскатистый, – это лед на реке пошел. Наутро все вышли смотреть, как дорога, по которой еще вчера гуляли, тронулась с места. Три дня льдины лопались и гремели, толстые, прозрачные. Раскалывались с пудовыми брызгами, дыбились, напозали друга на друга. Полезли на берег, чуть не снесли домишки, примостившиеся на самом краю. Река из ледяных глыб громоздила утесы, смельчаки забирались на них, карабкались на самые вершины и проплывали мимо, как на сверкающем огромном корабле. И вот среди этих отчаянных голов была Хлоя. Сдернула ушанку, и волосы разлетелись на ветру.

Вопрос: Проплывая на льдине, у Хлои слетела шапка. Хлоя за шапкой. Дафнис за Хлоей.

Ответ: Да я и сам вижу, что все не то.

Вопрос: Только ничего не надо придумывать. Все уже есть. И зима, и млыво.

Ответ: Но что делать, если все так и было? Сорвалась в воду, и он ее вытянул за воротник, спас. А в младенчестве их подменили. В пророческом сне им все было предreshено, от первого снега до последнего. Ей какая-то дама, поджидавшая у дверей школы после продленки, сунет молча в руку кольцо и уедет на дорогой машине, ему кто-то положит на сберкнижку, пока еще под стол пешком будет ходить, кучу денег, а потом начнутся реформы, и все превратится в труху. Дети вырастут, гормоны разыграют. Любовь-морковь-кровь. Она поклянется овцой, что сохранит себя для него, и скажет ему: «Поклянись этим стадом и тою козой, что вскормила тебя, что Хлоя ты не покинешь, пока она тебе верна. Если же она

погрешит против тебя, беги от нее, ее ненавидь и, как волка, убей!» Он присягнет, одной рукой держась за козу, другой за козла, что Хлою будет любить, пока она его любит, если ж другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее. Она обрадуется и поверит ему – ведь пастушкой родится она и будет уверена, что козы и овцы для них, пастухов, и есть настоящие боги. Потом их разлучат разбойники, и она выйдет замуж за их предводителя с сосочком на верхней губе. Будет подкармливать зимой голубей – мороз, а у них такие тонкие ноги, как веточки. А Дафнис, в уверенности, что Хлоя мертва – ибо сам слышал тревожный звонок трамвая, ржавый скрежет тормозов, крики прохожих, видел тело в луже крови, неподвижное, а кисть руки шевелилась, – отправится в странствия и приедет в столицы, будет жить в одной комнате со студентом-медиком, тот будет зубрить с утра до ночи учебники, выслушивать и выстукивать нецелованное пастушье тело. Почему-то запомнится *musculus cremaster*. Однажды будет лежать на своей раскладушке руки за голову, смотреть на замороженное стекло с папоротниками и иероглифами, сверкающими на солнце, думать о своем народе, что это – тот самый баран, запутавшийся в кустах, которого Авраам принес в жертву вместо Исаака, а в это время придет сосед злой с экзамена: не мог найти какой-то мускул, а профессор еще издевался, мол, удивительно, такого крупного мускула у вашего трупа нет – поздравляю, молодой человек, такого случая еще не было! Затем возжелает Дафниса Ликэнион, медсестра, которая будет воровать спирт в операционной и обменивать его на барахолке. У нее длинная коса.

Вопрос: Подождите!

Ответ: Ну?

Вопрос: Так обоих и подменили?

Ответ: А что в этом такого?

Вопрос: Разве так бывает?

Ответ: Господи, чего только не бывает! Ее подменили во дворце, а его в роддоме.

Вопрос: В каком дворце?

Ответ: А почему вы не спрашиваете, в каком роддоме? То-то и оно! Все хотят узнать, как подменивают во дворцах, где навощенный паркет и на приеме ветераны скользили, хватаясь друг за друга, особенно одноногие, а прусский император ел очень быстро и, как только заканчивал с каким-либо блюдом, у всех остальных тоже меняли тарелки. И никому не интересно про районную больницу – дежурного врача не было, а ночная санитарка мертвецки пьяна. Не хотели принимать – только когда пообещали починить крышу над акушерским отделением. Никаких лекарств давно не было, а какие поступали – главврач продавала на сторону или через родственников тем же больным. Нужно было иметь все свое – и простыни, и халаты, а кашель смягчали собачьим салом, вытопленным из пойманных беспризорных собак. Вы меня слышите?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.